

## ИЮЛЬСКАЯ МОНАРХИЯ

### I

I. Характер Луи-Филиппа. Смерть принца Конде. — II. Процесс министров Карла X. Открытый разрыв с демократами, потом и с либералами. Отставка Лафайета и Лафита. — III. Министерство Казимира Перье. Размер улучшений, произошедших из июльских событий. — IV. Новый элемент французской истории. Лионское восстание.

Пользуясь выходом в свет первой книги «Мемуаров» Гизо, мы поместили в «Современнике» очерк политической истории Франции в эпоху Реставрации<sup>1</sup>. Теперь мы хотим воспользоваться второю частью записок Гизо, чтобы представить читателям историю Франции при июльской монархии. Как в статьях «Борьба партий во Франции в эпоху Реставрации» мы вовсе не держались книги, издание которой служило для нас только предлогом для изложения фактов по совершенно иным источникам и с точки зрения, диаметрально противоположной взгляду Гизо, так и теперь вовсе не Гизо будет нашим руководителем<sup>2</sup>. Читатель, знакомый с литературою французской истории, конечно, назовет наши рассказы почти простым переводом, — мы и не имеем другой претензии, кроме той, чтобы эти статьи могли назваться не совсем дурным переводом. Теперь мы считаем излишним распространяться об этом, но со временем удовлетворим и требованию библиографической точности представлением цитат, от приведения которых ныне уклоняемся только для того, чтобы не сделать свое изложение чрезмерно тяжелым.

В статьях о Реставрации мы довели рассказ до возведения на французский престол принца Орлеанского. Мы не будем останавливаться на формальностях, которыми сопровождался переход власти от Бурбонов к их родственнику. Легкая переделка конституции, некоторые новые гарантии для свободы печати, не слишком прочные, — все это само по себе не было делом такой великой важности, чтобы стоило долго останавливаться над техническими подробностями произведенных реформ. Те стороны

новых учреждений, знание которых будет нужно для объяснений смысла тех или других событий, будут изложены нами при рассказе об этих фактах. Читатель согласится, что нам нет надобности рассказывать о новых учреждениях слишком подробно, если вспомнит, что новое правительство с первого же раза стало стремиться к тому, чтобы все либеральные переделки прежних законов остались только на бумаге. Таким образом, мы прямо начинаем с рассказа о событиях. Ход событий в очень значительной степени определялся характером нового короля, и через несколько дней по восшествии на престол Луи-Филиппа<sup>3</sup> произошел случай, очень ясно обрисовывавший ту сторону его характера, которая привела Францию к лишению свободы, а его собственную династию повела в изгнание.

Сын Луи-Жозефа Конде, знаменитого предводителя эмигрантской армии, отец герцога Ангьенского, известного своею трагическою смертью, принц Луи-Генрих-Жозеф Конде<sup>4</sup>, герцог Бурбонский, последний потомок фамилии Конде, был в свое время храбрым офицером, но в 1830 году имел уже около 75 лет, и прежняя отважность заменилась в дряхлом старике боязливостью. Он давно уже не вмешивался в политические дела и тихо жил в своих громадных поместьях, ценность которых простиралась до семидесяти миллионов франков. При известии о катастрофе, постигшей Бурбонов, он совершенно растерялся. Он трепетал за Карла X, трепетал сам за себя; приближенные напоминали ему о прежнем его мужестве, но слабый старик находился под властью женщины, интересы которой были связаны с выгодами орлеанского дома.

Происхождение этой женщины было темно, даже фамильное имя ее неизвестно с достоверностью; говорят, что она когда-то играла на Ковент-Гарденском театре; потом жила она с каким-то роскошным богачом; наконец успела овладеть стариком Конде; при его посредничестве она успела выйти замуж за барона де-Фёшера, не знавшего об ее истинных отношениях к принцу. Женщина умная, красивая лицом, соединявшая искательность с надменностью, умевшая казаться то нежной, то гордой, баронесса де-Фёшер умела устроить так, что принц Конде в 1824 году написал завещание, в котором отказывал ей поместья Сен-Лё и Буасси. Она уже пользовалась и при его жизни доходами с них, но ей казалось мало этих подарков и огромных сумм, выпрошенных ею у принца. Через несколько времени Конде прибавил в своем завещании новый подарок ей — Ангьенский лес. Баронесса беспокоилась за судьбу этих приобретений: она боялась, что до смерти принца законные наследники, принцы Роганы, заведут с нею процесс. Она искала опоры своим правам и убеждала герцога Конде усыновить герцога Омальского, бывшего крестником принца, одного из сыновей Луи-Филиппа. Существуют документы об этих переговорах, начавшихся в 1827 году. Герцогиня

Орлеанская, супруга Луи-Филиппа, писала к баронессе де-Фёшер письма, в которых благодарила ее за хлопоты об усыновлении герцога Омальского принцем Конде и уверяла ее в своей защите. Вот один отрывок из этой переписки: «Я очень признательна, — писала герцогиня баронессе, — за вашу заботливость, и поверьте, что если я дождусь счастья видеть своего сына усыновленным со стороны принца Конде, то вы всегда и при всяких обстоятельствах найдете для себя и для всех близких к вам в нас ту опору, которой требуете; признательность матери служит вам верным ручательством за то». Но герцог Конде медлил уступить настояниям баронессы, и тогда герцог Орлеанский присоединил свои личные убеждения к просьбам баронессы. 2 мая 1829 года Луи-Филипп написал принцу Конде очень ловкое письмо, в котором говорил о своей признательности к баронессе де-Фёшер за ее хлопоты и о том, как приятно будет видеть ему одного из своих сыновей носящим славное имя Конде. Старик был смущен. Старинный эмигрант, он не любил Луи-Филиппа, фамилия которого щеголяла либерализмом. Но он не знал, как сказать, что вовсе не имеет того желания, за которое благодарит его герцог; он боялся раздражить и баронессу, через посредство которой приносилась ему слишком ранняя благодарность. Притом баронесса уверяла его, что Карл X и все Бурбоны желают усыновления, которого она требует. Вот отрывок одного из ее писем: «Король и королевская фамилия желают, чтобы вы избрали одного из родственников вам принцев наследником вашего имени и состояния. Они думают, что я одна мешаю исполнению этого желания. Умоляю вас, освободите меня от этого тяжелого положения, избрав себе наследника. Этим вы обеспечите, мой милый друг, благосклонность королевской фамилии и менее несчастное будущее для вашей бедной Софии». Принц Конде упрекал баронессу за то, что она, не спросив его мнения, не разузнав об его намерениях, вступила с герцогом Орлеанским в переговоры о столь важном деле. Но баронесса продолжала настаивать, говоря, что только усыновлением герцога Омальского принц может обеспечить ее собственную будущность, и, наконец, устроила свидание между принцем Конде и герцогом Орлеанским. Ничего решительного принц Конде не сказал на этом свидании; но герцог Орлеанский приказал Дюпену старшему, своему поверенному в делах, приготовить для герцога Конде проект завещания в пользу принца Омальского. Это поручение, как и все переговоры, оставалось в секрете. Но изготовлением завещания значительно облегчалось дело: имея готовую бумагу, баронесса де-Фёшер могла воспользоваться первой благоприятною минутою, чтобы получить подпись принца Конде. Она продолжала настаивать. Старик жаловался и сердился. Хлопоты баронессы о завещании лишали его покоя, и он проводил ночи без сна: «Они хотят моей смерти, — говорил он: — как только получают они то, чего желают,

моя жизнь будет в опасности». В своем отчаянии, он, чтобы избежать преследования баронессы де-Фёшер, вздумал, наконец, обратиться к великодушию самого герцога Орлеанского. «Дело, занимающее нас, — писал он герцогу 20 августа 1829, — было начато баронессою де-Фёшер без моего ведома и несколько легкомысленно; оно чрезвычайно тяжело для меня — вы сами могли это видеть». Он умолял Луи-Филиппа просить баронессу де-Фёшер, чтобы она оставила свои требования об усыновлении герцога Омальского, обещая ему «дать доказательство» своего расположения. Герцог Орлеанский исполнил просьбу: отправился к баронессе и в присутствии свидетеля, который мог бы передать его слова принцу Конде, уговаривал ее прекратить свои настояния. Само собою разумеется, что баронесса де-Фёшер решительно отказала ему и объявила, что не может не хлопотать в пользу его сына. Действительно, она продолжала свои хлопоты с таким усердием, что вечером 29 августа один из приближенных людей принца, Сюрваль, которому принцу уже и прежде жаловался на свои страдания по делу о завещании, услышал в комнате принца крики и стоны. Он вошел в комнату. Там были баронесса де-Фёшер и принц, опечаленный и раздраженный. «Это страшное, жестокое дело! — воскликнул принц. — Приставляют мне нож к горлу, чтобы принудить меня сделать акт, столь неприятный для меня!» Он схватил баронессу за руку и продолжал, сопровождая свои слова соответствовавшими их смыслу жестами: «Ну, что ж? режьте же мне горло этим ножом, — режьте!» На другой день, 30 августа, принц Конде подписал завещание, по которому делал принца Омальского своим наследником и завещал баронессе на 10 миллионов франков имущества в поместьях и в деньгах.

Это было ровно за одиннадцать месяцев перед Июльской революцией. Через несколько времени придворные принца заметили перемену в его отношениях к баронессе: ее имя производило на него тяжелое впечатление, которого он иногда не мог скрыть. Он попрежнему выказывал ей нежность, не жалел для нее денег, но в его нежности к ней замечен был страх. Он не распечатывал при ней получаемых писем, как делал прежде. Двум из своих приближенных он сказал, наконец, что хочет предпринять далекое путешествие, и просил их держать этот проект в секрете, особенно от баронессы де-Фёшер. Время шло, и совершилась Июльская революция; отец принца Омальского сделался королем французов. Между тем происходили у него с баронессою странные сцены. Утром 11 августа Манури, любимый камердинер принца, вошедши в его спальную, увидел у старика царапину около глаза. Принц поторопился объяснить ему происхождение раны: «Повернувшись на кровати, я ударился глазом о столик», — сказал он. Манури заметил на это, что стол ниже кровати и удариться о него нельзя. Через несколько минут Манури, расстлал ковер в туалетной комнате принца, увидел под дверью потайной

лестницы письмо и подал его принцу. Принц очень смутился, взглянув на письмо, и сказал: «Я не умею хорошо лгать. Я сказал, что ушибся, повернувшись во сне на постели; нет, я хотел отворить дверь, упал и ударился виском о панель». После того принц просил Манури, чтобы он ложился спать у дверей его комнаты. Манури заметил, что прислуга будет говорить об этом, потому что по ее понятиям принцу натуральнее было бы класть у дверей своей комнаты другого камердинера, Леконта, который был рекомендован принцу баронессою де-Фёшер. «Нет, если так, лучше оставить эту мысль», — отвечал принц.

Через несколько дней принц объявил одному из своих доверенных людей, капитану Шуло, что решил уехать.

25 августа, за два дня до смерти принца, баронесса Фёшер взяла у Ротшильда вексель на Англию в 500 000 франков. На другой день в девятом часу утра служители принца слышали жаркую сцену в его комнате между ним и баронессою. Манури, когда вошел в комнату, увидел его в страшном расстройстве. Принц велел подать себе одеклона. Он послал за Шуло, который устраивал его секретную поездку. Но вечером старик был довольно весел, играя в вист с баронессою де-Фёшер и двумя придворными. Уходя спать, он сделал слугам дружеский жест, который удивил их, показавшись им знаком прощания. Это было вечером 26 августа.

Спальная принца Конде соединялась небольшим коридором с комнатами, в которых жили разные лица его штата. Некоторые из них легли спать не раньше двух часов, но они не слышали никакого шума в спальне. Остальная часть ночи также прошла совершенно спокойно.

Утром (27 августа 1830) камердинер принца Леконт пошел в 8 часов к принцу, который накануне приказал разбудить себя в это время. Он постучал в дверь — ответа не было. Он ушел и через несколько времени воротился с Бонни, находившимся в штате принца; они снова постучались: ответа также не было. Леконт и Бонни, обеспокоенные, пошли сказать об этом баронессе Фёшер. «Услышав мой голос, он будет отвечать», — сказала она и пошла вместе с ними. Но ответа не было попрежнему. Между тем весь дом уже встревожился. Сошлись слуги. Манури железным ломом выбил дверь и вошел в спальню принца вместе с Леконтом и Бонни. Ставни, бывшие у окон изнутри, были затворены, в комнате было очень темно, на камине горела свеча, но она стояла за экраном, скрывавшим свет. При этом слабом освещении вошедшие служители увидели голову принца прислоненною ко внутреннему ставню одного из окон: фигура старика имела такое положение, как будто бы он подслушивал, что говорят за окном. Манури поспешно раскрыл ставни другого окна. Тут увидели, что такое произошло: принц Конде был повешен, или лучше сказать, прицеплен к задвижке ставня. Все бросились в спальню. Баронесса де-Фёшер с воплем упала на кресло.

Герцог был привязан к задвижке ставня двумя носовыми платками, связанными в одну веревку. Конец одного платка был привязан к задвижке, другой платок обвязан около шеи. Но этот платок, окружавший шею, был связан неподвижным узлом, а не петлею, которая могла бы удушить; он не сдавливал шеи и был повязан так слабо, что вошедшие люди легко всовывали пальцы между ним и шеею. Голова мертвого свесилась на грудь, лицо его было бледно. Язык у него не был высунут, как высовывается у людей, удушаемых петлею; руки были сложены, колена подогнуты, и пальцы ног касались пола. Все эти обстоятельства в положении тела противоречили мысли о самоубийстве.

Явилось местное начальство, потом король прислал высших сановников. Принц Луи-Роган, который был бы наследником принца Конде, если бы Конде умер без завещания, не был уведомлен о его смерти: он только из газет узнал о кончине человека, наследство после которого отнималось у него завещанием, неизвестным ему до той поры.

Были составлены протоколы о положении, в котором нашли тело, и состоянии комнат. Эти протоколы говорили о самоубийстве. Главным доводом в подтверждение мысли о самоубийстве было обстоятельство, ничтожность которого раскрылась позднейшим следствием: спальня изнутри была заперта задвижкою, так что без шума нельзя было войти в нее. Но потом, когда начали пробовать, нельзя ли отодвинуть задвижку снаружи, оказалось, что можно было снаружи продеть сквозь дверь ленту и отодвинуть задвижку. Предположили, что принц для совершения самоубийства стал на стул, с которого потом спустился. Но стул этот находился так далеко от тела, что от этого предположения должны были потом отказаться даже люди, его высказавшие.

В противность протоколам, говорившим о самоубийстве, свидетельствовали все обстоятельства. Дряхлость принца, вялость его характера, известная его религиозность, ужас, какой внушала ему одна мысль о смерти, его мнение о самоубийстве, как о деле трусливом и низком, веселость, которую он обнаруживал в предыдущие дни, — все эти соображения разрушали догадку, порожденную тем обстоятельством, что дверь была заперта. Все вещи, найденные в комнате принца, показывали, что, приготавлиаясь спать, он располагал провести следующий день, как всегда проводил свои дни. Карманные часы его, лежавшие на камине, были заведены вечером, по его обыкновению, а под изголовьем лежал его носовой платок, завязанный узелком на конце, как он делал ложась спать, когда хотел напомнить себе этим узелком что-нибудь на следующее утро. Самое тело висело так, что упиралось ногами в пол. Один из лакеев принца, Романцо, путешествовавший по Турции и по Египту и видевший много повешенных, говорил, что тело принца вовсе не имеет такого вида, что у повешенных цвет лица бывает не бледный, а черный, что глаза у них

остаются открытыми и язык высовывается изо рта, — этих признаков не было в теле принца. То же самое подтверждал другой слуга, ирландец Файф, также видевший много повешенных. Когда стали отвязывать труп от окна, Романцо только с большим трудом успел развязать узел платка, прикрепленный к задвижке ставня, — так искусно был сделан этот узел. Между тем вся прислуга принца знала, что он не умеет даже завязать лент на своих башмаках, по чрезвычайной неловкости. Кроме того, кисть правой руки его имела сабельную рану, а ключица левой руки была сломана, так что он не мог поднять левую руку к шее, стало быть, не мог завязать платка, ее окружавшего; и действительно, когда он повязывал галстук, ему должен был помогать камердинер. Протоколы говорили, что он становился на стул, чтобы повеситься. Но этот стул был слишком далеко от тела, и притом все знали, что принц с трудом может поднимать ногу даже на одну ступень лестницы: он мог входить на лестницу не иначе, как держась одною рукою за перила, а другою рукою опираясь на палку; трудно было такому расслабленному старику взлезть на стул и удержаться на нем.

Мало того, были признаки, указывавшие, что ночью кто-то входил в комнату. Принц почти никогда не надевал туфель и они почти всегда оставались у кресла, на котором он раздевался. Теперь туфли стояли у постели. Прислуга, убиравшая вечером постель, всегда вдвигала ее в глубину алькова; так была придвинута кровать и вечером 26-го числа; теперь кровать была найдена отодвинутой от стены на полтора фута. Когда вошли в спальную, на камине стояли две восковые свечи, недогоревшие и погашенные: кто мог погасить их, — неужели принц? Неужели он нарочно оставил себя в темноте, занимаясь многосложными приготовлениями к самоубийству?

Баронесса Фёшер защищала предположение о самоубийстве. Но странно было, что, решаясь на самоубийство, он не написал ни одного слова прощанья, не подумал о том, чтобы избавить от подозрения служителей, которых любил. Для освидетельствования трупа были присланы три доктора; они решили, что принц сам лишил себя жизни, повесившись у окна. Но двое из них находились в самых тесных сношениях с двором; а доктор принца не был приглашен присутствовать при освидетельствовании тела. Один из людей, не веривших самоубийству, Мери Лафонтен, доказал, что принцу нельзя было умереть в том положении, как его нашли: он сам привязывал шею к задвижке окна и опускался на пол, принимая позу, в какой нашли тело: петля не душила его в этой позе. К довершению всех сомнений в самоубийстве найдено было новое обстоятельство. Кроме обыкновенной двери, запертой задвижкою, в спальную принца вела другая, потайная дверь, и один из свидетелей, вошедших в комнату утром 27 августа, утверждал, что дверь эта не была заперта.

Мало-помалу предположение о самоубийстве стало казаться для всех невероятным. Аббат Пелье, хоронивший Конде, сказал в надгробном слове: «Принц невинен перед богом в своей смерти». Правительство не захотело напечатать эту проповедь в «Монитёре»<sup>5</sup>.

В протоколах, говоривших о самоубийстве, были найдены неточности и натяжки. Общая молва заставила правительство произвестить следствие. Но когда следователь де-ла-Гюпруа стал ревностно заниматься раскрытием обстоятельств, его уволили в отставку, но взамен того дали ему зятю должность, о которой давно хлопотал Гюпруа. Следствие о смерти принца Конде перешло в другие руки, и дело скоро было замято.

Молва винила в смерти принца баронессу де-Фёшер; она сначала тревожилась, но скоро стала спокойна. Она была приглашена ко двору, и весь Париж изумлялся такому приглашению; подозрения усилились; говорили, что сам Луи-Филипп должен быть соучастником в ее преступлении. Ему оставалось одно средство очиститься от подозрений: он должен был бы отказаться за своего сына от наследства Конде. Но это наследство простиралось до нескольких десятков миллионов, и такая жертва была выше сил Луи-Филиппа. Накануне своего восшествия на престол он передал дарственною записью своим детям громадные родовые имения Орлеанского дома, чтобы уклониться от действия закона, по которому личное имущество человека, восходящего на французский престол, становилось государственным имуществом. Этот дарственный акт уже возбудил чрезвычайное неудовольствие, поднял ропот о своекорыстии. Теперь, через три недели после начала нового правительства, дело о смерти принца Конде дало пищу новому, еще более черному подозрению. Конечно, нельзя разделять нелепых тогдашних подозрений о прямом соучастии Луи-Филиппа в смерти принца Конде; но едва ли можно сомневаться в том, что принц был насильственно лишен жизни, что виновницей его смерти была баронесса де-Фёшер, которая опасалась, что принц ускользнет из-под ее власти и переменит завещание, или хотела поскорее вступить во владение завещанными ей богатствами. Не подлежит сомнению то, что Луи-Филипп покровительствовал подозреваемой баронессе и почел нужным затушить дело, результатов которого опасалась баронесса: если бы она не боялась строгого исследования, не нужны были бы усилия придать делу тот оборот, которым отстранялась юридическая опасность, но усиливались подозрения. Покровительство баронессе де-Фёшер по смерти принца Конде было очень вредно для репутации самого Луи-Филиппа. Но все равно, наконец, была ли виновна баронесса в смерти своего любовника, или он сам лишил себя жизни, во всяком случае неоспоримым фактом остаются продолжительные интриги, веденные Луи-Филиппом вместе с этой женщиной для принуждения слабого старика завещать свое безмерное



богатство принцу Омальскому. Эта часть дела доказана документами, а она уже и сама по себе очень дурна.

Мы пропускаем дипломатические сношения, внимание к которым только отвлекает и народы, и историю от мыслей о развитии внутренних учреждений, т. е. от предметов, исключительно имеющих существенную важность для благосостояния обществ. Довольно заметить общий характер впечатления, произведенного на Францию первыми действиями внешней политики Луи-Филиппа. Подобно русской и английской нациям, французская нация достигла такой государственной силы, что не нуждается ни в чьей снисходительности для своего независимого существования. Ни англичане, ни немцы, ни какой другой народ не могли иметь в 1830 году ни малейшей претензии вмешиваться во внутренние дела Франции, утверждать своим согласием или колебать своим неодобрением перемены, в ней происшедшие. Потому французы были справедливы, оскорбляясь униженным смирением, с каким Луи-Филипп выпрашивал у иноземных держав своего признания королем французов. Роль, которая могла быть прилична бельгийцам, просившим признания своей самостоятельности у Европы, не годилась для Франции, имеющей силы, достаточные для того, чтобы держать себя независимо. Другим источником неудовольствия внутри самой Франции было положение, принятое правительством Луи-Филиппа относительно слабых государств, увлеченных к внутренним переворотам событиями июльских дней. Во многих местах Европы произошли волнения, имевшие ту же цель, как июльский переворот<sup>6</sup>. Принципы, вводимые в государственную жизнь второстепенных итальянских и других государств этими движениями, были несогласны с принципами остальных сильных континентальных государств, которые начали действовать враждебно им. Редко можно ожидать пользы для народа от иноземных вооруженных вмешательств, хотя бы они производились и под предлогом освобождения народов, получающих иноземную помощь, которая обыкновенно приводит только к новому порабощению. Но если Франция не должна была жертвовать своими солдатами и деньгами на вооруженную пропаганду конституционных принципов, то она могла выказывать серьезную симпатию к реформам, произведенным другими государствами в духе ее собственных учреждений; она могла поддерживать их своим нравственным влиянием, могла и должна была требовать, чтобы все европейские державы уважали независимость своих слабых соседей. Правительство Луи-Филиппа не отваживалось делать и этого. Оно не осмеливалось говорить в своем духе таким же языком, каким в своем духе говорили Пруссия и особенно Австрия: ему казалось, что оно должно смирением и уступчивостью покупать терпимость самому себе со стороны великих континентальных держав. Наконец Бельгия, освободившаяся без помощи Франции, готова была присоединиться

к ней. Нельзя любить расширения границ, приобретаемого покорением чуждых национальностей, — но бельгийцы так близки к французам, что чувствовали бы себя одною с ними нацией, если бы Франция приняла их готовность соединиться с нею. Правительство Луи-Филиппа не отважилось воспользоваться желанием бельгийцев. Когда, не находя в нем такой решимости, бельгийцы выбрали своим королем принца Немурского, второго из сыновей Луи-Филиппа, новый король французов не захотел принять и этого предложения, боясь оскорбить другие державы<sup>7</sup>.

Такая смиренная робость могла происходить только из одного источника: Луи-Филипп хотел доказать континентальным правительствам, что он достоин их дружбы, что он хочет по возможности держаться тех же принципов, каких держались они, т. е. принципов, от которых Франция отказалась с конца прошлого века. Боязнь нового порядка дел, пристрастие к старому порядку, господствовавшему до революции и имевшему своими представителями Бурбонов, ясно выказывалась внешнею политикою Луи-Филиппа. Из того же самого источника возникало его желание защитить бывших министров Карла X, дело которых подало первый случай к открытому столкновению нового правительства с сословиями и партиями, низвергнувшими Бурбонов, и послужило поводом к удалению из его кабинета людей, бывших связью между ним и прогрессивною частью нации.

Увидев свое поражение в июльские дни, министры Карла X хотели скрыться за границу. Некоторым из них удалось спастись. Но четырех успели арестовать. Это были: Полиньяк, председатель совета министров, служивший слепым орудием Карла X; Перонне, бывший самым усердным исполнителем плана, составленного Карлом X и Полиньяком, человек замечательного ума и твердого характера и потому виновный более самого Карла и Полиньяка, которые не понимали, что делали, между тем как он очень хорошо знал, к чему ведет дело и какими средствами надобно будет защищать его; Шантлоз и Гернон-Ранвиль. Они были отвезены в Венсенский замок. Палата депутатов назначила из своей среды трех комиссаров для обвинения их перед палатою перов. Арестованные министры хотели отнять у Франции права, составлявшие основу нового порядка вещей; они подписали повеления, которыми восстанавлиался безотчетный произвол; они приказали войскам стрелять по народу. Факты были бесспорны, не было сомнения в том, какому наказанию подвергнет закон этих ослепленных или злонамеренных людей: они подлежали смертной казни. Луи-Филипп хотел спасти их, потому что сам становился во вражду с порядком дел, который хотели они низвергнуть.

Если бы милосердие происходило из чистого источника, оно могло бы совершиться открыто и благородно. Если бы Луи-Филипп сознавал, что верно служит новому порядку вещей, если бы

он чувствовал, что его нельзя подозревать в пристрастии к старому порядку, или что он может своими делами опровергнуть такое подозрение, он спокойно дал бы процессу министров идти прямым путем, и когда суд произнес бы приговор, он смело мог бы смягчить его, как внушала ему кротость: имея по закону право помилования, он мог бы не только сохранить жизнь осужденных, но даже избавить их от заключения, просто выслав их за границу для их собственного спокойствия на время, пока загложнет свежая ненависть к ним. Но человек может открыто и благородно прощать только тогда, когда прощение для всех покажется милостью к врагам, а не потворством. Луи-Филипп придумал косвенное средство спасти жизнь министров Карла X. Способ, им избранный, замечателен потому, что превосходно характеризует всегдашнее искусство его приискивать очень благовидные формы для удовлетворения потребностям, вытекавшим из личного расчета. Новый король говорил: «Мой отец умер на эшафоте», и плакал, уверяя, что хочет уничтожить смертную казнь.

При всех дурных сторонах своего характера, Луи-Филипп не может быть обвиняем в жестокости. Но кротость, за которую хвалят его, не простиралась в нем до того, чтобы он действительно считал смертную казнь делом бесчеловечным, вредным для общества, преступным, как следует считать ее. Если бы он действительно так думал, он имел бы очень много случаев провести через палаты уничтожение смертной казни: он царствовал 18 лет, и в последние годы своего правления делал во Франции все, что хотел, пользуясь под конституционными формами неограниченной властью. Но он не уничтожил смертной казни, и вовсе не стремился к тому, чтобы уничтожить ее: с окончанием процесса министров Карла X миновалась для него надобность желать этого. Желание, которое выражал он в начале правления, прямо имело своею целью спасение министров Карла X. Так оно и было понято тогда же.

17 августа Виктор де-Траси предложил палате депутатов уничтожение смертной казни. Комиссия, назначенная для рассмотрения предложения, 6 октября предложила отсрочить это дело. Но палата, одушевленная речами Лафайета и тогдашнего министра юстиции, республиканца Дюпон-Делёра, бывшего в 1848 году президентом временного правительства, решила послать королю адрес, в котором просила его представить через министров проект закона об отменении смертной казни, если не за все, то за некоторые преступления. Но в самых прениях об адресе было высказано, что дело собственно ведется не для решения общего юридического вопроса, а только для спасения жизни министров Карла X. Работники, недовольные уже тем, что суд над Полиньяком и его товарищами предоставлялся палате перов, учреждению очень непопулярному, стали роптать.

К чему ведется это дело? — говорили они: — Для преступников из простонародья хотя бы оставить эшафот, а знатым преступникам дать безнаказанность. Если какой-нибудь несчастный, доведенный до преступления нищетою или отчаянием, совершит убийство, никто не станет избавлять его от руки палача; каждый почел бы стыдом обнаружить сострадание к его преступлению, порожденному несчастием. Но когда люди знатные и богатые, которым поручена судьба государства, приносят в жертву своей гордости тысячи людей, заставляют братьев резаться между собою и когда придет для этих людей час наказания, — все говорят о милосердии, и закон теряет свою строгость.

Париж волновался. На улицах явились афиши, возбуждавшие народ действовать. 18 октября собрались толпы и ходили по городу. Они направились к Пале-Роялю со знаменем, на котором было написано: «Смерть министрам». Решетку пале-рояльского сада успели запереть. Национальная гвардия пришла на защиту дворца. Толпа, не успевшая войти во дворец, пошла на Венсенский замок с криками: «Смерть министрам!» Генерал Дюмениль, командовавший замком, вышел навстречу народу и стал говорить, что взорвет на воздух башню, в которой находились министры, если не будет в силах защитить ее. Толпа вернулась, и опять прошла мимо Пале-Рояля с криками, требовавшими смерти министров Карла X.

Национальная гвардия выказала решимость защищать правительство. На другой день король благодарил ее.

В этих беспорядках были обвиняемы демократические клубы; но они не играли в них никакой роли, потому что сами члены клубов были не согласны между собою в вопросе о судьбе министров Карла X. Например, в самом сильном клубе, «Общество друзей народа»<sup>8</sup>, один из самых влиятельных людей, Рош, чрезвычайно горячо говорил против предложения требовать казни венсенских пленников, и клуб разошелся, не приняв предложения.

Уличные волнения испугали министерство. Оно объявило в «Монитёре», что немедленное отменение смертной казни кажется ему невозможным.

Сенским префектом был тогда Одилон Барро<sup>9</sup>, пользовавшийся большою популярностью, которой не заслуживал. По своим понятиям он мало отличался от Гизо, Броли и других доктринеров, но королю не нравились его грубоватая прямота и нерасположение к придворным. Луи-Филипп давно искал случая избавиться от него. Теперь случай нашелся. Одилон Барро издал прокламацию, в которой, строго порицая беспорядки, называл несвоевременным адрес, представленный королю палатою. Король решил отставить его. Но Лафайет был другом Одилона Барро; Дюпон-Делёр находил, что он очень полезен своею популярностью; оба они сказали, что скорее выйдут в отставку, нежели согласятся на отставку Одилона-Барро. В совете министров были жаркие споры, кончившиеся очень резкою сценою между Луи-Филиппом и Дюпон-Делёром. Король сказал, что Лафайет согла-

сился на отставку Одилона Барро. «Нет, государь, вы ошибаетесь». — «Я сам от него это слышал», — отвечал король. — «Позвольте мне повторить, государь, что вы ошибаетесь, — повторил Дюпон, славившийся чрезвычайной правдивостью: — Лафайет говорил мне противное, и я не считаю его способным противоречить самому себе до такой степени». — Луи-Филипп вспыхнул. — «Впрочем, будем говорить только обо мне, — продолжал Дюпон: — если Одилон Барро получит отставку, я возобновляю вашему величеству просьбу принять и мою отставку». — «Но утром вы говорили мне не то». — «Говорил вам? нет, государь, я утверждаю, что вы ошибаетесь». — «Как? вы говорите, что мои слова несправедливы? Публика узнаёт, что вы оскорбили меня». — «Государь, когда король скажет да, и Дюпон-Делёр скажет нет, я не знаю, кому из них поверит Франция». — Министры были смущены этою резкою сценою. Дюпон встал и хотел уйти. Герцог Орлеанский, старший сын Луи-Филиппа, присутствовавший в совете, бросился к Дюпону, схватил его за руки, подвел его к королю и сказал: «Г. Дюпон — честный человек; все это должно быть недоразумением». Король обнял министра, и Дюпон согласился остаться министром. Король видел, что ему еще невозможно открытым образом разорвать связи с прогрессивною партией, которой он был обязан престолом и представителем которой в министерстве был Дюпон-Делёр, Одилон Барро сохранил свою должность. Это служило явным поражением большинству министров, которые были враждебны прогрессистам. Все эти консерваторы (Броли, Гизо, Моле, Казимир Перье, Дюпон старший и Биньон) подали в отставку. Король при помощи Лафита<sup>10</sup> убеждал их примириться с Дюпоном. Все усилия были напрасны. Консерваторы уже чувствовали, что близко время, когда они могут захватить власть одни, не допуская никого из прогрессистов разделять ее. Шесть министров остались при своей просьбе об отставке и таким образом, если король еще сохранял вид нейтральности между прогрессистами и консерваторами, то сами консерваторы уже отвергали всякие уступки прогрессистам, которым были они обязаны июльской победою. Это было в конце октября, всего через три месяца после победы.

Положение дел представлялось затруднительным, Париж сильно волновался; лозунгом волнения был крик: «Смерть министрам Карла X!», но судьба этих преступных слепцов служила только ничтожным предлогом, по которому обнаруживалось недовольство и недоверие к общей политике Луи-Филиппа. Под политическими признаками недовольства скрывались по обыкновению другие — социальные. Всякий политический кризис влечет за собою некоторое расстройство промышленных дел. Как бы ни были выгодны для благосостояния нации прочные последствия какой-нибудь крутой перемены, но на первый раз она производит падение биржевых курсов, стеснение кредита, задержку

в торговых заказах и фабричной деятельности. Так было и после Июльской революции. Она оставила многих работников без занятий, отняла хлеб у тех самых, руками которых была произведена. Новое правительство ничего не сделало, чтобы облегчить им перенесение кризиса. Это также в порядке вещей. Волнения, происходившие в Париже, повторялись во многих провинциальных городах.

При затруднительности положения мало было охотников принимать министерские портфели. Просьбы короля отвергались всеми, кого он просил вступить в кабинет. Он обратился к Лафиту, который в то время был безгранично предан ему и пользовался чрезвычайною популярностью, считаясь одним из главных виновников переворота, хотя в самом деле был только одним из главных виновников того, что переворот кончился возведением Луи-Филиппа на престол. Богатства Лафита перед Июльской революцией были безмерны, но промышленный кризис коснулся и его. Больше чем когда-нибудь, ему следовало сосредоточить все внимание на своих банкирских делах. Но из преданности королю он взялся и успел составить министерство под своим председательством. Дюпон остался министром юстиции, другие министерства были приняты людьми, лично преданными Луи-Филиппу (Себастиани, Монталиве, Жерар, Мезон и Мерилью).

При парламентской форме правления каждая важная перемена требует объяснений в палате депутатов. Лица, вышедшие в отставку, излагают причины своего удаления; лица, оставшиеся в должности или вступившие в должность, рассказывают дело с своей точки зрения. Эти объяснения произошли 9 и 10 ноября. Гизо, говорившему от имени отставных министров, надобно отдать ту справедливость, что он очень прямо определил свою систему, которой держалось и большинство палаты. «В чем состоит характер Июльской революции? — сказал он. — Она переменяла династию. Переменяя, она старалась прежнюю заменить такой, которая бы была как можно ближе к этой прежней, и общественный инстинкт склонил нацию ограничить перемену самыми тесными пределами». «Некоторые члены министерства, — продолжал Гизо, — хотели развить из Июльской революции новые учреждения. Мы, я и мои друзья, отказались продолжать таким образом революцию». Кроме крайней левой стороны, вся палата аплодировала ему.

Дело было представлено в настоящем своем виде. Прогрессисты могли быть недовольны тем, что факты имели такой, а не иной характер; но факты были действительно таковы, как их определял Гизо. Переворот в самом деле был поведен так, чтобы иметь самые узкие пределы. Те, которые хотели новых учреждений, должны были понять, что реформы могут вытекать разве из новых событий, а не из Июльской революции, получившей характер простой замены прежнего короля ближайшим его род-

ственным с некоторыми мелочными уступками потребностям общества, оставшимся в сущности неудовлетворенными. Таким образом, консерваторы справедливо говорили, что кто хочет важных реформ, тот хочет нового переворота, справедливо называли прогрессистов революционерами. Кто не одобряет политику Гизо и Луи-Филиппа, может разве прибавить, что революционный характер прогрессивных стремлений во Франции проистекал именно из этой политики. Власть не хотела и теперь, как при Бурбонах, соглашаться на реформы, требуемые положением общества. Эти реформы были бы безвредны или даже выгодны для нее, если бы она искренно и твердо помогала им; но она поставила безусловною своею целью отвергать их, и потому стремление к реформам нашло первым условием для своего успеха низвержение власти.

На другой день президент совета министров Лафит отвечал на слова Гизо. Человек мягкого характера, он старался доказать, что разница между вышедшими и вступившими министрами не так велика, как утверждал суровый Гизо. Он говорил, что «никто из министров не хотел и не хочет слишком больших перемен», что разногласие было только в том, какие перемены могут быть произведены без всякого нарушения существующего порядка. Министры, вышедшие в отставку, полагали, что уже пора совершенно остановиться; он и новые министры думают, что можно еще кое-что сделать, не нарушая установившихся отношений. «Никакого существенного разногласия в системе не было, сказал он, — между членами прежнего кабинета», то есть между Дюпоном с одной стороны и Гизо — с другой. Либеральная часть консерваторов осталась недовольна такими словами. Эти почтенные люди воображали, что целая бездна отделяет их вместе с Лафитом и Одилоном Барро от безусловных консерваторов вроде Гизо. Они обольщали себя. Разница была только в том, что они любили некоторые слова, неприятные для безусловных консерваторов; особенно слово революция. Одни говорили «наша славная революция», другие говорили «революция опасна». Но в чем должны состоять существенные результаты этой революции, обе партии были согласны. Результатами ее они признавали вещи, уже принятые в закон. Одни вовсе не хотели отвергать этих давних приобретений: равенства перед законом, уничтожения сословных привилегий, парламентской формы; другие не думали, чтобы для удовлетворения общественной потребности нужно было произвести новые реформы, столь же глубокие, как эти принципы, бывшие лозунгом еще в 1789 году.

Разница между партией либеральных и партией нелиберальных приверженцев июльской монархии была, как видим, действительно невелика, и Лафит, если не понимал этого умом, то уже говорил это по мягкости характера. Но большинство не только среднего сословия, но и городских работников еще оболь-

щались поверхностными несогласиями двух партий в неважных подробностях. Простолюдины еще воображали, что имеют защитников в либералах, подобных Лафиту, Одилону Барро, и популярность этих людей была очень велика. Еще не утвердившись в своем новом положении, еще не собрав сил для отпора грозившим революционным порывам, Луи-Филипп мог в ожидании более благоприятного времени держаться только помощью популярности Лафита и других, именами которых обольщались простолюдины. Если был когда человек, обязанный безусловною признательностью к другому человеку, это был Луи-Филипп в отношении к Лафиту. Трудно сказать, удалось ли бы ему получить престол без Лафита. Он теперь держался на престоле также преданностью Лафита и его друзей. Кроме этих политических прав на признательность Луи-Филиппа, Лафит имел права на его расположение как частного человека: он был личным его другом. Но то качество характера, которое выражалось в делах Луи-Филиппа с баронессою де-Фёшер и принцем Конде, не пощадило и самого Лафита.

Мы говорили, что банкирские дела Лафита были затруднены промышленным кризисом. Ему нужны были деньги. Он вздумал продать одно из своих имений — Бретельский лес. Покупщиком явился Луи-Филипп. Для Лафита было необходимо, чтобы продажа оставалась несколько времени секретом: слух о ней, открывая его денежное стеснение, поколебал бы его фирму. Поэтому он условился с королем, чтобы купчая крепость не была записываема у нотариуса. Но через несколько времени Луи-Филипп передумал: ему казалось, что безопаснее исполнить юридическую формальность, хотя бы она свидетельствовала о недоверии к Лафиту и была вредна его делам. 18 ноября Лафит получил от Луи-Филиппа записку, которая извещала его, что король приказал своему поверенному записать купчую крепость у нотариуса. Такое неделекатное нарушение слова из мелочной и неуместной расчетливости глубоко оскорбило Лафита. Он промолчал. Но с того времени поселилось в нем недоверие к словам короля. Он стал думать, что необходимо соблюдать осторожность в сношениях с Луи-Филиппом, и, чтобы избавиться в политике от такого же обмана, какому подвергся в своих частных делах, решился произнести в палате речь, которая излагала бы систему министерства и служила бы для него самого гарантией против двоящихся Луи-Филиппа. Когда эта речь предварительно читалась в совете министров, Луи-Филипп выражал совершенное одобрение, показывал даже энтузиазм и, расхаживая по комнате большими шагами, подтверждал голосом и жестом самые энергические места речи. Но когда совет кончился, он выпросил у Лафита речь, чтобы еще раз прочесть ее, повторяя, что чрезвычайно доволен ее тоном и содержанием. Получив назад речь на другой день, Лафит изумился: рукопись была покрыта помарками. Дюпон,



более решительный, чем Лафит, отправился к Луи-Филиппу и объявил, что выйдет в отставку, если помарки не будут уничтожены. Король согласился, чтобы речь была произнесена в том виде, как читалась в совете.

Мы привели этот маловажный случай только потому, что он характеризует общий способ Луи-Филиппа вести дела. При многих хороших качествах, хитрая двуличность делала его человеком совершенно ненадежным. Сама по себе речь Лафита, подобно тому либерализму, представителем которого был Лафит, не содержала в себе ничего, кроме громких фраз и неопределенных обещаний, которыми обольщались люди, их делавшие, но не знавшие, как исполнить их, и боявшиеся средств, нужных для исполнения. Либеральная публика твердила, что великие континентальные державы не должны мешать распространению либеральных учреждений по Европе, что Франция остановит всех врагов свободы. Но с тем вместе либералы не хотели войны с северными континентальными державами и потому их слова были пышным хвастовством. Такова была и речь Лафита. «Франция, — говорил Лафит, — не допустит нарушения принципа невмешательства. Но если война станет неизбежна, мир должен видеть, что мы ведем ее только по необходимости выбора между войною и отречением от наших принципов. Мы будем продолжать переговоры, но, ведя их, мы будем вооружаться. Скоро, кроме гарнизонов наших крепостей, мы будем иметь 500 000 войска, готового к битве. Мы двинемся тесными рядами, сильные нашим правом и могуществом наших принципов. Если народы взволнуются при виде трехцветных знамен и станут нашими союзниками, не мы будем виновны в том». Речь Лафита была беспрестанно прерываема аплодисментами.

Но какую цель могли иметь вооружения, которыми хвалилось министерство? На Францию никто не думал нападать, а наступательной войны против Австрии, Пруссии, России сами либералы не хотели начинать \*. Таким образом, они только удовлетворяли своему тщеславию, а северные державы спокойно занимались в средней Европе подавлением принципов, не согласных с прежним порядком дел. Точно так же были пусты слова либеральных консерваторов и о внутренней свободе. Они много твердили о ней, но ровно ничего не делали для ее развития.

Между тем приближалось время суда над министрами Карла X. Один из обвинителей, назначенных палатою депутатов, Моген, выражал мнение, что министры подлежат смертной казни. Когда при дворе узнали об этом, решились сменить его, и палата депутатов, разделявшая систему Луи-Филиппа, назначила на его место Персиля. Один из докладчиков, назначенных палатою

---

\* Здесь Чернышевский, видимо, по цензурным соображениям опускает место о польской революции 1830—1831 годов. — *Ред.*

перов \*, выказывал намерения своих товарищей, говоря, что этого процесса нельзя судить по уголовному кодексу, что палате перов принадлежит юридическое полновластие, что она выше законов и потому может помиловать обвиненных.

Процесс начался 15 декабря. Обвиняемые держали себя с достоинством. Полиньяк был спокоен, Перонне также, а Гернон-Ранвиль так владел собою, что в первом заседании процесса вынул какую-то брошюру и внимательно читал ее, как будто вовсе не интересуясь ходом своего процесса.

Действительно, министры Карла X могли быть спокойны если не за свою судьбу, то, по крайней мере, за положение, которое давалось им характером обвинения. Они могли представляться бесспорно преступными, если бы обвинители рассматривали дело в его сущности, говорили о намерении Бурбонов и их приверженцев насильственным образом восстановить во Франции старый порядок, отнять у нации все приобретенные ею блага, возвратить времена произвола и привилегий; если бы обвинители требовали наказания министров Карла X как людей, начавших междоусобную войну для утверждения над Франциею произвольной власти феодальных времен, защитники обвиненных не могли бы отвечать ничего. Но Персиль, назначенный обвинителем по желанию Луи-Филиппа, стал на исключительную и узкую точку зрения юридических формальностей. Он требовал наказания министров Карла X за то, что они июльскими повелениями нарушили конституцию. Ответ на это был готов: 14 статья конституции 1814 года давала королю право «издавать повеления, необходимые для безопасности государства». Июльские повеления были изданы потому, что Парижу грозили смуты; их целью была безопасность государства, охранение порядка; следовательно, Карл X и его министры нисколько не нарушали конституции, издавая эти повеления, следствием которых было падение Бурбонов. Персиль возражал на это, что июльские повеления имели характер не административный, а законодательный, и что 15 статья конституции присваивает власть не одному королю, а королю вместе с палатами перов и депутатов. Тут опять была явная натяжка: 15 статья говорила только о порядке дел при обыкновенных, спокойных обстоятельствах, а исключительные случаи и чрезвычайные опасности подходили под определение 14 статьи. После этого следовало спорить уже просто о том, действительно ли в конце июля угрожали государству волнения, и не ошиблись ли министры, предположив тогда надобность чрезвычайных мер. Вместо преступления, речь должна была идти о пронизательности и благоразумии, то есть о качествах, недостаток которых не подлежит юридическому наказанию. При таком основании обвинения, министры Карла X оказывались правы по форме;

\* Де-Бастар (Луи Блан, том II, стр. 126). — *Ред.*

да и на самом деле ни Карл X, ни Полиньяк не думали, что нарушают конституцию, издавая июльские повеления: напротив, они были тогда искренно убеждены, что пользуются своими законными правами и действуют для спасения конституции, которую хотят низвергнуть либералы и республиканцы.

Таким образом, защитникам министров предоставлялась возможность блистательного оправдания. Особенный эффект произвела речь Созе́. Он говорил, что необходимость должна служить объяснением закону, что правительство должно предупреждать опасные для общества кризисы, что 14 статья ясно говорила об этом, что если бы даже этой статьи и не было в конституции, то на всяком правительстве лежит обязанность поддерживать порядок. После этого остается только вопрос, необходимо ли было правительству Карла X искать себе защиты в июльских повелениях? Да, уступки для Бурбонов были невозможны: династия могла бы держаться уступками только тогда, если бы могла удовлетворить ими национальному чувству. Но Бурбоны были возведены на престол иностранными войсками, потому нация никак не могла примириться с ними. Она хотела их низвержения, потому что считала их власть игом, наложенным на нее от завоевателей. Конституция давала престол Бурбонам, а при вражде нации они могли удерживать за собою престол только деспотическими мерами; деспотизм не только не нарушал конституции, но, напротив, был необходим для ее спасения. Конечно, выражения Созе́ были не таковы, но таков был их смысл. Из этого оратор выводил, что между Бурбонами и французской нацией неизбежна была вооруженная борьба, минута которой настала в июле 1830. Это была война, проистекавшая из необходимости вещей. Карл X был побежден в войне, избежать которой не мог, и по законам войны единственное наказание побежденным состоит в том, что победитель отнимает у них могущество и они бегут с поля битвы.

Нельзя не признаться, что Созе́ говорил правду. Но обвинители не могли принять приводимых им фактов. Партия, одержавшая верх в июле, хотела сохранить в сущности тот же самый порядок вещей, какой был при Бурбонах, и не допускала коренных реформ. Она должна была говорить, что учреждения, существовавшие при Бурбонах, были удовлетворительны, что нация, производя июльский переворот, не хотела изменять законов, а вооружилась только на защиту их от нарушений. А если так, обвинители могли иметь на своей стороне большинство голосов в палате перов, но здравый смысл и чувство справедливости были на стороне их противников. Что можно было сказать против слов Созе́, если признавалась неприкосновенность конституции, по которой престол принадлежал Бурбонам, и если признавалось, что правительство должно принимать меры для ограждения своего существования от народных восстаний?

Парижские простолюдины роптали. Процесс министров Карла X обращался в панегирик людям, хотевшим восстановить во Франции произвол и старый порядок вещей. У простолюдинов был простой ответ на речи Созе и других адвокатов побежденной партии. Если Карл X действительно был в необходимости отказать от власти или прибегнуть к деспотизму, почему он выбрал деспотизм, а не отречение? Если следовало выбирать между своими правами и правами нации, из этого еще не следует, чтобы он был прав, решившись пожертвовать правами нации. Говорят, что обвиняемые министры действовали по необходимости; но если принимать необходимость за оправдание, ею оправдывается все, потому что все в мире происходит по необходимости. Говорят об искренности их убеждений. Искренность может служить обеспечением для репутации человека, но закон не извиняет его преступлений: иначе каждый убийца мог бы оправдаться, доказав, что считал убийство делом нужным.

Мы уже видели, что официальные обвинители министров Карла X не могли говорить таким языком, потому что мысли эти вытекали из принципов, противоположных стремлению их партии. Могла ли июльская монархия признавать за нацией право низлагать власть, когда сама предвидела близость борьбы с нацией? Она родилась из народного восстания, но не могла признавать справедливости восстаний, потому что они уже угрожали ей самой.

Торжествующее положение, принимаемое адвокатами министров Карла X, раздражало простолюдинов, и Париж снова волновался. 20 декабря, когда Созе кончил свою речь, начавшуюся накануне, Люксембургский дворец, в котором заседала палата перов, был окружен толпами, громко выражавшими свое негодование на ход процесса. Караул, находившийся при дворце, едва удерживал народ. Курьеры поскакали известить об опасности Лафайета, который со времени июльского переворота был командиром национальной гвардии. Было приказано бить тревогу; в зажиточных сословиях распространилась по обыкновению молва, что грубая чернь хочет грабить город, и национальная гвардия, которая после июльского переворота точно так же, как и до него, состояла главным образом из буржуазии, стала поспешно собираться для укрощения мятежников, которые пять месяцев тому назад прославлялись как защитники и спасители свободы.

Между перами властвовало смятение. Напрасно один из офицеров, командовавших люксембургским караулом, уверял Пакье, президента палаты, что ручается за сохранение порядка. Расстроенный Пакье понял его слова в обратном смысле и объявил, что заседание прекращается, что комендант караула не советует ему собирать заседания вечером, потому что это было бы опасно. В палате депутатов господствовало такое же беспокойство. Но, сознавая в себе более силы, депутаты переходили от

беспокойства не к робости, как перы, а к речам о необходимости крутых мер для усмирения мятежа. День прошел, однакоже, без кровополития. Но ждали гораздо больших опасностей на другой день.

21 декабря правительство приняло сильные меры к сохранению порядка. Около Люксембурга было поставлено несколько батальонов регулярного войска и множество национальной гвардии. Всего было собрано до 30 000 человек вооруженной силы. Речи адвокатов и обвинителей оканчивались в этот день. Перам оставалось только произнести приговор. По окончании прений обвиняемые были посажены в карету, которая быстро поскакала в Венсенский замок. Народ волновался, и национальная гвардия бывала иногда принуждена скрещивать штыки, преграждая дорогу толпе. Особенно встревожился народ пушечным выстрелом, который служил сигналом того, что подсудимые благополучно доведены до крепкого замка. Толпа приняла выстрел за знак начала борьбы. В разных местах пять или шесть человек получили случайным образом раны в небольших драках, не имевших даже характера стычек. Несколько республиканцев закричали — «к оружию!», и народ бросился к Лувру, на дворе которого было сборное место для артиллерии национальной гвардии.

Республиканцы были в то время очень малочисленны. Когда составлялась национальная гвардия, они рассудили, что исчезнут в ней незаметными, если будут без разбора записываться в разные легионы. Чтобы сохранить некоторую силу посредством сосредоточения, они вздумали преимущественно записываться в артиллерию, которая имела четыре батареи; таким образом, вторая батарея состояла вся из республиканцев, и они составляли половину третьей батареи. Народ ожидал, что они выдадут ему пушки и пойдут вместе с ним. Но решетки луврского двора были заперты; артиллеристы не могли присоединиться к народу, и он разошелся, потому что не имел предводителей.

Наступил вечер. Палата перов собралась для произнесения приговора. Перы хотели показать мужество, и все явились в заседание; но мало-помалу боязнь брала верх, хотя все пространство около Люксембургского дворца было занято войсками и национальными гвардейцами, ограждавшими безопасность судей. Подав голоса, перы торопливо бросились к дверям. Напрасно Пакье, президент палаты, восклицал, что это неприлично, приказывал запереть двери, — перы тайком уходили через задние двери, и приговор был прочитан президентом в зале почти опустевшей. Палата перов осудила всех четырех министров Карла X на вечное заключение.

Известие об этом приговоре увеличило раздражение народа. Ночь проведена была тревожно. Поутру, 22 декабря, на площади Пантеона было развернуто черное знамя, символ пролетариев. Толпы народа шумели около Люксембургского дворца и Пале-

Рояля. Снова приказано было бить тревогу для созвания национальной гвардии. Но она была и утомлена службою предшествовавших дней, и сама недовольна приговором, возбуждавшим негодование народа. В этой опасности правительство обратилось к помощи студентов, которые пользовались чрезвычайною популярностью с июльских дней, когда управляли битвами на баррикадах. Студенты гордились ролью успокоителей, которую им предлагали. Они обнародовали прокламацию, приглашавшую народ к сохранению порядка, увлекли за собою тысячи простолюдинов, привыкших верить им на слово, и ходили по улицам, восстанавливая тишину. К вечеру, действительно, все успокоилось без всякого кровопролития и насилия.

Луи-Филипп и консерваторы уверились теперь в своих силах. За них не только была национальная гвардия, но и простолюдины выказали нерешительность, обнаружили неспособность начинать борьбу без предводителей, а студенты и прежние июльские предводители народа были на стороне правительства. Больше всего содействовало избежанию кровопролития имя Лафайета, которому, кроме команды над национальной гвардией, было поручено в эти дни и начальство над войсками. Результатом его увещаний народу было то, что он потерял значительную часть своей популярности, но все-таки доверие к нему сильно успокоивало народ. Он приобрел новые права на признательность Луи-Филиппа и консерваторов; но они по прекращении волнения рассудили, что могут обойтись и без помощи этого энтузиаста, сильно беспокоившего их своими либеральными порывами.

Едва уверились консерваторы в том, что опасность мятежа прошла, как сделано было в палате депутатов предложение уничтожить звание коменданта всей национальной гвардии Франции, принадлежавшее Лафайету с июльского переворота. Палата приняла это предложение 24 декабря, через два дня по успокоении Парижа. Лафайет не был даже предупрежден о таком решении. До сих пор Луи-Филипп уверял его, что командование национальной гвардией всего королевства останется за ним на всю жизнь. Во время процесса министров эти уверения повторялись. Но едва процесс кончился и тишина в Париже была восстановлена, его простодушному тщеславию нанесли жесточайшее оскорбление. Решение палаты не говорило прямо об его отставке, оно только уничтожало должность, им занимаемую. В исполнение воли депутатов он послал к Луи-Филиппу просьбу об отставке и получил ответ чрезвычайно странный. Луи-Филипп говорил, что просьба генерала удивила его, что он «еще не читал газет» и что после совета министров, который соберется в тот день, он надеется убедить Лафайета взять назад свою просьбу. Луи-Филипп, очевидно, хотел показать генералу, будто бы до получения его просьбы не знал о решении палаты. Это было не натурально, неправдоподобно: все знали, что Луи-Филипп принимает самое

живое участие в государственных делах и что ни одно важное решение не принимается министрами без его согласия. Особенно странна была фраза «я еще не имел времени прочесть газеты»: она говорила, будто бы Луи-Филипп только из газет узнает о том, что делает правительство. Опять мы видим хитрость, доходящую до оскорбительного двоедущия. Лафайет был раздражен письмом; он, однакоже, явился в Пале-Рояль по приглашению короля. Луи-Филипп принял его с живейшим выражением привязанности, жалел о решении палаты, осуждал неловкость своих министров. Лафайет отвечал, что вопрос идет не лично о нем, что о себе он не хочет говорить, но что система, которой вообще следует правительство, угрожает опасностью свободе, что правительство не понимает условий, налагаемых на него июльскими событиями, что оно идет по ложной дороге. Характер его речи был тот, что он переходит в оппозицию. Его упрасивали остаться командиром национальной гвардии города Парижа, он отказался. Луи-Филипп умел придать делу такой оборот, что сам оставался в стороне; притом же, если палата уничтожила звание командира национальной гвардии всего королевства, то от команды над парижскою национальною гвардиею Лафайет отказался сам, и таким образом Луи-Филипп мог на другой день после свидания с Лафайетом обнародовать (26 декабря) следующую прокламацию:

Храбрые национальные гвардейцы, милые мои соотечественники, вы разделите мою скорбь, узнав, что генерал Лафайет нашел нужным выйти в отставку. Я льстил себя надеждой, что он останется вашим начальником, одушевляя вашу ревность своим примером и воспоминанием о великих услугах, оказанных им делу свободы. Его удаление от должности тем огорчительнее для меня, что достойный генерал еще так недавно принимал славанное участие в поддержании общественного спокойствия, которое вы столь благородно и столь успешно охранили при последних волнениях. Потому я имею утешение думать, что сделал все зависящее от меня для предотвращения дела, которое будет для национальной гвардии предметом живого огорчения, а для меня — истинной печали.

Но ни эта прокламация, ни тонкость, с какою была ведена вся интрига, не обманули никого: для всех был ясен истинный ход дела. Ясен был и смысл его: разрыв с Лафайетом был окончательным разрывом с тою частью либералов, которая желала придать июльской монархии демократический характер. Дюпон-Делёр, единственный представитель этой партии в министерстве, подал в отставку вслед за Лафайетом. Два месяца тому назад Луи-Филипп еще дорожил его содействием до такой степени, что пожертвовал для него всеми остальными министрами. Теперь король считал себя уже столь сильным, что не видел надобности беречь для себя опору в монархистах с демократическим направлением. Оставалась еще в связи с ним не демократическая, но все-таки прогрессивная партия умеренных либералов, представителем которой был Лафит. Мы увидим, что очень скоро Луи-Филипп нашел также ненужным беречь ее сочувствие и стал

опираться исключительно на консерваторов, которые до самого конца переворота старались оставить власть за Бурбонами. Повидимому, такие люди всего менее могли бы рассчитывать на дружбу с новою династиею, возведенною на престол против их желания. Но ясны причины, по которым такой союз нравился Луи-Филиппу: они находились в качествах его характера, уже известных нам.

Партия, до июльского переворота желавшая низвержения Бурбонов, была уже оттеснена от участия в правительстве; парижские престолоюдины, совершившие переворот, казались усмирёнными; было уже видно, что общественные учреждения остаются почти в таком же виде, какой имели при Бурбонах. Натурально было, что в легитимистах воскресла надежда низвергнуть новое правительство, отказывавшееся от своих опор и не обещавшее нации никаких важных улучшений. Приверженцы Бурбонов начали думать, что пришло время для них действовать смело. Предлогом для первой демонстрации они выбрали 14 февраля (1831 года), годовщину смерти герцога Беррийского, который считался у них мучеником за свою династию, и сын которого остался для них королем по отречении Карла X. Легитимистские газеты объявили, что 14 февраля будет совершена в церкви св. Роха панихида по герцоге Беррийском. Но министр исповеданий написал архиепископу парижскому предостережение, говоря, что предполагаемая церемония может вызвать народное волнение. Главный священник церкви св. Роха не захотел рисковать и отложил церемонию. Но главный священник церкви св. Жермена, старик, сопровождавший на эшафот Марию Антуанетту, был мужественнее. Он согласился назначить свою церковь местом манифестации. Элегантный аристократический свет съехался на панихиду. В церкви собиралось подаяние в пользу солдат королевской гвардии, которые были ранены в Июльскую революцию, сражаясь за Бурбонов. Среди церкви был поставлен катафалк, изображавший гроб герцога Беррийского. В конце службы повесили на катафалке портрет герцога Бордосского, которого присутствующая публика признавала законным королем. Катафалк украсили венками: офицеры снимали свои ордена и клали на него.

Но слух о манифестации созвал на нее не одних легитимистов. Вокруг церкви собралась толпа; в ней ходили рассказы, по обыкновению преувеличенные, о том, что делается в церкви. Толпа росла, в ней раздавались угрозы. Префект полиции Бод явился для наблюдения за порядком. Служба уже кончилась и легитимисты разошлись, но толпа перед церковью все увеличивалась и шумела. Вдруг ее внимание обратилось на молодого человека с бледным лицом и длинными волосами. Он был в черном платье и смотрел на толпу молча, но с насмешкой. «Иезуит», — закричала толпа и бросилась на него; его потащили к набережной и



хотели сбросить в реку. Префект полиции с несколькими людьми поспешил спасти его. Завязалась драка и продолжалась более часа; префект полиции не мог вырваться из толпы, а толпа с криками ломилась в церковь.

Легитимисты вздумали угрожать владычеству среднего сословия, зато буржуазия решила запугать их яростью простолюдинов \*. Толпою предводительствовали люди изящно одетые, с палевыми перчатками на руках. Само правительство поощряло волнение своим бездействием; войска не являлись, не являлась и национальная гвардия: она готова была подавлять демократические волнения, но не считала нужным мешать мятежу, направленному против легитимистов. Толпа вломилась в церковь и опустошила ее; все было переломано и разбито. Этот беспорядок еще продолжался, когда префект полиции, успев спасти несчастного, сочтенного иезуитом, поспешил за приказаниями к Луи-Филиппу. Король был совершенно спокоен; он оставил префекта полиции обедать с собою и таким образом прямо к нему приходили полицейские донесения о ходе мятежа. Полиция говорила, что на следующий день надобно ждать возобновления таких же сцен в больших размерах, что народ собирается опустошить архиепископский дворец. «Надобно дать им место, где погулять», — сказал король префекту полиции: — охраняйте только мой дворец». Воротившись домой, префект полиции распорядился, чтобы на завтра войска были расставлены около Пале-Рояля и не двигались на другие пункты что бы ни делалось.

Утром 15 февраля народ стал собираться около Пале-Рояля. Но тут стояли войска, а дворец архиепископа был оставлен без всякого охранения. Какие-то переодетые люди втерлись в толпу и стали уговаривать ее идти на дворец архиепископа. Толпа двинулась. Тревога, созывавшая национальную гвардию, была пробита вяло, и национальная гвардия не собиралась в зажиточных кварталах. Только из двенадцатого округа, то есть из предместья св. Антония, где живут работники, явился для охранения порядка отряд под командою знаменитого Араго, ревностного республиканца, игравшего важную политическую роль в своей партии <sup>11</sup>. Когда Араго с своим отрядом дошел до архиепископского дворца, дворец был уже взят и опустошение производилось с бешенством. Пришел другой отряд национальной гвардии, под командою другого демократа, Шонена; но эти слабые отряды исчезали в толпе и не могли ничего сделать. И тут, как вчера, разрушением руководили изящно одетые люди. Араго послал за подкреплениями к командиру парижской национальной гвардии. Командир задержал посланного у себя и не дал ответа. Араго послал к нему несколько записок. Командир обещал, наконец, прислать подкрепление, но не прислал.

\* Ср. Гизо, «Мемуары», том II, стр. 169 сл. — Ред.

Подле архиепископского дворца находится церковь Парижской богородицы. Толпа хотела грабить и ее. Араго успел спасти церковь хитростью. Наверху колокольни были уже люди, которые рубили крест. Араго указал на них: «Вы видите, — сказал он народу, — что крест качается от ударов; колокольня очень высока, потому он кажется невелик, но в самом деле он огромный. Когда он станет падать, он сорвет с собою и тяжелую железную балюстраду с колокольни. Уходите отсюда, или многим сыновьям придется оплакивать отцов, многим женам — мужей». Сказав это, он сам бросился бежать, будто боясь, что будет раздавлен. Толпа ринулась от церкви вслед за ним. Между тем успели подойти национальные гвардейцы и окружили церковь. Благодаря республиканскому ученому церковь уцелела.

Но разрушение продолжалось в архиепископском дворце. Араго был в бешенстве от бессилия прекратить буйство. Он приказал однакоже своему слабому отряду гнать разрушителей: но ему отвечали, что в ряды национальных гвардейцев вмешались сильные в правительстве люди и говорят гвардейцам, чтобы они не мешались в это дело. В числе других тут находился Тьер, бывший тогда товарищем министра финансов<sup>12</sup>. Он ходил по месту опустошения с довольным лицом и с улыбкой на губах. В три часа, наконец, явился один из двенадцати легионов национальной гвардии. Араго убеждал командира легиона, чтобы он занял архиепископский дворец и вытеснил толпу. «Мне приказано только прийти сюда, повернуть назад и уйти», — отвечал командир легиона. Он не сделал ничего для прекращения буйства. По всему Парижу происходили около церквей подобные сцены. Толпа разрушала украшения снаружи церквей, смешивая католицизм с феодальным порядком. Вместе с крестами были разрушаемы на барельефах и гербах белые лилии, символ Бурбонов. В ночь 15 февраля мятеж успокоился.

Когда в палате депутатов потребовали у префекта полиции Бода объяснений о бездействии городских властей во время смут, он отвечал пустыми фразами, из которых было только видно, что он не может оправдать себя, не компрометируя Луи-Филиппа. Объяснения министра внутренних дел Монталиве были также неудовлетворительны. Участие правительства в смутах 14 и 15 февраля очевидно из подробностей, приведенных нами. Когда Араго, увидев людей, рубивших крест на церкви Парижской богородицы, хотел остановить их, они отвечали, что исполняют приказание начальства, и в удостоверение показали ему приказ, подписанный мером округа. Мер, конечно, поступал так не по собственной власти. Луи-Филипп хотел показать духовенству и аристократам, что в случае надобности может предать их ярости простолудников; а буржуазия возбуждала народ против врагов, которых недавно победила его помощью и которые вздумали было беспокоить ее, когда увидели, что она разорвала свой союз с народом.

Чтобы польстить народу дешевым угождением его вражде к Бурбонам, Луи-Филипп уничтожил в государственном гербе белые лилии, которые истребляемы были 14 и 15 февраля.

Он с каждым днем чувствовал себя сильнее и думал, что может наконец разорвать связь даже с теми умеренными, очень умеренными прогрессистами, которые сохранили влияние на дела по удалении демократов от власти. Он думал, что пришло уже время, когда он открыто может опираться исключительно на одних консерваторов. Лафит стал ему не нужен, и он оставлял ему только имя министра, отнимая у него всякое участие в делах. Цель была очевидна: ему хотелось вытеснить Лафита из министерства, и скоро Лафит увидел себя одураченным до того, что не мог не подать в отставку. Случай этот произошел следующим образом.

Северная половина Церковной области всегда была проникнута к папскому правительству такими же чувствами, как теперь. Отголосок Июльской революции произвел в легатствах восстание. Австрийцы готовились идти усмирять Болонью. Лафит не хотел допускать вмешательства и давал инструкцию посланнику в Вене, Мезону, в этом смысле. Луи-Филипп не хотел ссориться с Австрией. Мезон доносил французскому правительству, что Меттерних<sup>13</sup> не исполняет его требований, что австрийцы идут в легатства, и если Франция хочет предупредить их, она должна двинуть армию в Пиемонт. Эта депеша была получена министром иностранных дел Себастиани 4 марта. Президент совета узнал о ней только 8 числа из газеты «National»<sup>14</sup>. От него четыре дня скрывали важнейшее донесение посланника. Он был изумлен, потребовал объяснений у Луи-Филиппа и, все еще сохраняя преданность к нему, говорил, как опасна для самого короля дорога, по которой он идет. Луи-Филипп отвечал по своей обыкновенной методе. С наивной фамильярностью он кротко успокаивал своего друга, говорил, что будет очень огорчен его удалением из министерства, упрашивал его остаться, показывал вид, что не понимает, как произошел случай, неприятный для Лафита, что он ничего не знает о системе им осуждаемой, и советовал ему объясниться об этих вещах с своими товарищами. Лафит собрал их на другой день; но между тем уже разнеслись слухи, что король просил предводителя консерваторов, Казимира Перье, составить новое министерство<sup>15</sup>; тон, принятый министрами, окончательно убедил Лафита в справедливости этих слухов, и он подал в отставку. Ему давно было необходимо сделать это для собственной репутации. Его давно, или, лучше сказать, с самого начала, обманывали. Себастиани и Монталиве, заведывавшие важнейшими министерствами, иностранных дел и внутренних дел, действовали по инструкциям, которые получали от Луи-Филиппа мимо Лафита; иностранная политика и внутренняя политика были ведены по системе, не согласной с убеждениями первого министра.

Отставкою Лафита кончается первый и очень непродолжительный период царствования Луи-Филиппа, период так называемого либерального правительства. С министерством Казимира Перье власть решительно переходит в руки консерваторов, которых вернее будет назвать реакционерами: точнее говоря, Луи-Филипп находит уже нужным управлять исключительно посредством консерваторов. Здесь мы должны остановиться, чтобы посмотреть, какие новые учреждения получила Франция при Луи-Филиппе даже в те первые семь месяцев, когда Луи-Филипп еще находил необходимым иметь в своем кабинете прогрессистов. Мы видели характер событий: он состоял в том, что постепенно и очень быстро оттеснялись от власти люди, хотевшие развития либеральных учреждений, хотя стремления этих людей были чрезвычайно умеренны, хотя именно эти люди были основателями нового правительства, хотя Луи-Филипп знал, что они вполне преданны ему, и был им обязан признательностью и за свое возвышение, и за личную дружбу их к нему. Посмотрим, что успели сделать эти люди для развития свободы во Франции.

Мы уже говорили, что изменения, произведенные в конституции 1814 года при передаче престола орлеанскому дому, были неважны. Они ограничивались следующими вещами: католическая религия, называвшаяся в конституции 1814 года государственною религиею, объявлялась просто «религиею большинства французов»; мы увидим, что католическая партия выводила из этого нового выражения точно такие же притязания, какие прежде выводила из слов «государственная религия»; стало быть, перемена была ничтожна и не достигала своей цели, если имела целью равенство всех исповеданий перед администрациею и судом. Гораздо важнее казалась прибавка, сделанная к восьмой статье, устанавливавшей свободу печати: «цензура никогда не может быть восстановлена». Но, во-первых, цензура была давно уничтожена, еще при Бурбонах; а во-вторых, мы увидим, что эта гарантия оказалась очень неполна и что орлеанское правительство удержало за собою средства вредить неприязненной публицистике посредством штрафов и других наказаний типографщикам и ответственным редакторам. 14 статья, бывшая предлогом к изданию июльских повелений, была, конечно, уничтожена. Это было неизбежно. Для большей гарантии от произвольных распоряжений было прибавлено, что король не может останавливать действия законов. Но за правительством осталась власть объявлять города или целые департаменты находящимися в осадном положении, если грозила опасность законному порядку; а по осадному положению административная власть переходила от местных гражданских начальств в руки военных командиров и обыкновенный уголовный суд мог быть заменяем военным судом: таким образом, уничтожилось только одно имя, даваемое произвольным распоряжением, но оставался другой, столь же широкий способ

заменять закон произволом в решительные минуты. В 16 статье было сказано, что члены обеих палат получают право предлагать проекты законов, между тем как по конституции 1814 года проекты законов мог предлагать только король, то есть министерство. Но эта уступка была чистою формальностью: что касается собственно возможности представить проект закона, никто не мог помешать какому-нибудь перу или депутату представить полный проект закона под формою просьбы к королю о предложении палате такого закона; что же касается возможности провести проект через палату, большинство палаты депутатов принимает только такие проекты, которым не противится министерство, потому что само министерство при парламентской форме бывает представителем большинства депутатов; если парламентская форма существует на деле, а не только на бумаге, министерство само представляет все проекты, требуемые палатою депутатов, и другим членам ее не остается делать в этом отношении ничего важного с надеждою на успех. Кроме того, были сделаны публичными заседания палаты перов, на которые прежде не допускалась публика; но палата перов сама не имела большой важности. Было также постановлено, что члены палаты депутатов избираются не на семь лет, как прежде, а только на пять, и возраст, нужный для них, понижен вместо прежних сорока лет на тридцать лет, — перемены недурные, подобно всем другим переменам, нами перечисленным, но также незначительные. Несколько важнее было то, что палата депутатов получила право сама избирать своего президента, который прежде назначался от короля. Наконец была объявлена незаконность всяких чрезвычайных судилищ. Но сами Бурбоны давно уже не прибегали к чрезвычайным судилищам, а возможность заменять обыкновенный суд военным оставалась попрежнему. Из этого перечисления реформ, произведенных при передаче престола Луи-Филиппу, мы видим, что перемен было сделано очень немного, что почти все они были совершенно мелочны, а две или три из них, которые одни могли иметь серьезное значение, не достигали своей цели, оставляя незакрытыми другие пути к произволу, подобному произвольным действиям Реставрации<sup>16</sup>, и, стало быть, казались гарантиями для свободы только по форме, а вовсе не лучше прежнего ограждали ее в действительности.

Образованные классы дорожат свободою. Они имели власть в своих руках и не сделали ничего удовлетворительного для ограждения свободы. После этого напрасно и спрашивать о том, было ли сделано что-нибудь для доставления большего благосостояния массе народа, для облегчения лежавших на ней тяжестей, были ли приняты хотя какие-нибудь средства для того, чтобы дать ей средства подняться в материальном и умственном отношениях. Для народа не было сделано ровно ничего.

Но если улучшения, произведенные при передаче власти новому королю, не могли назваться значительными или удовлетво-

рительными даже для тех ограниченных целей, о достижении которых думали партии, захватившие власть в июльский переворот; то еще гораздо менее было сделано для развития внутренних учреждений в следующие семь месяцев, пока прогрессивные люди участвовали в правительстве.

Ничего нельзя было ожидать для дела прогресса уже потому, что после июльского переворота продолжала свое существование та палата депутатов, которая была выбрана перед июльскими событиями в оппозицию министерству Полиньяка. В те времена общественное мнение не могло быть разборчиво: борьба шла против крайнего фанатизма и произвола; каждый был хорош, кто говорил против преобладания иезуитской и феодальной партии. Кроме очень немногих, уже слишком закоснелых обскурантов, каждый назывался тогда либералом, как самый смуглый брюнет должен назваться белым, если сравнивать его с негром. Потому палата, выбиравшаяся исключительно для оппозиции Полиньяку, составила из людей, без всякого разбора казавшихся тогда либеральными. Большинство этих людей вовсе не желало низвержения Бурбонов: оно старалось в июльские дни и в первые числа августа удержать за ними власть, ограничивая, впрочем, свое усердие словами в заседаниях своей палаты. Эти расчетливые люди перешли на сторону Луи-Филиппа, когда низложение Бурбонов было решено. Но если они держались Бурбонов, значит, они были довольны учреждениями, существовавшими при Реставрации, и прежняя оппозиция их вытекала только из мелочных несогласий, из страха, что возьмет верх феодальная партия, или из личных причин. Теперь опасения за преобладание феодалов исчезло, личные враги были побеждены, некоторые мелочи в законах были переделаны, и большинство палаты не хотело уже никаких дальнейших перемен, находя, что и сделанные перемены едва ли не слишком велики. Из либералов эти люди вдруг превратились в консерваторов, даже в реакционеров.

Таким образом, Луи-Филипп нашел палату депутатов, расположенную как можно более сократить и сузить развитие политических и общественных учреждений. Мы увидим, какие средства употреблял он впоследствии, чтобы всегда иметь такие палаты. Теперь надобно только заметить, что консерватизм этой первой палаты превосходно соответствовал его целям: он мог прикрывать свое личное нерасположение к прогрессу, говоря, что не он, а палата не хочет реформ, требуемых развитием общества. До самого 24 февраля 1848 года он постоянно оправдывал реакционность своей политики реакционностью депутатов<sup>17</sup>. Но по обыкновенной ошибке людей тонкого ума, он не замечал, что тонкий формализм непонятен ограниченному соображению людей не тонкого ума, что они смотрят на дело проще, по своей неспособности к мудреным умственным экзерцициям. Общество скоро увидело, в чем дело; оно увидело, что большинство депутатов реакционно

только потому, что Луи-Филипп хочет этого. Действительно, масса консерваторов всегда состоит из людей, у которых первая потребность — действовать заодно с правительством, чтобы не нарушалась тишина. Правительству нужно только показать, что оно искренно хочет реформ, и эти люди сами станут хотеть реформ, потому что их судьба: поддерживать правительство во всем и всегда, для избежания всяких нарушений тишины. Это мы замечаем вообще, и более по отношению к позднейшим временам июльского периода; но дело с первою палатою депутатов июльского правительства, о котором мы должны теперь говорить, было еще гораздо проще. По принципам парламентского правления, было очень странно, что палата, созданная королем одной династии, спокойно продолжает быть палатою короля другой династии, как будто и не произошло переворота. Сущность парламентской формы состоит в том, чтобы депутаты служили представителями господствующего в обществе настроения; потому, если произойдет в обстоятельствах общественной жизни слишком большая перемена, которая имеет влияние на настроение умов, практика парламентаризма требует новых выборов, чтобы депутаты выражали собою не минувшее, а настоящее расположение общества. Формального закона на это быть не может, потому что дело зависит от настроения умов и нельзя подвести под формальные рубрики того, при каких случаях происходит перемена в настроении умов. Таким образом, Луи-Филипп мог, не нарушая законных форм, сохранить палату, выбранную при Карле X. Но для каждого очевидно было, что июльский переворот и перемена династии должны были вызвать потребность в новых выборах. Если Луи-Филипп не производил их, каждый понимал, что причина этого — внутреннее довольство короля характером палаты. Формально Луи-Филипп имел за собою право действовать так, как действовал; но и теперь, как постоянно во все время своего правления, он, слишком надеясь на возможность оправдаться формальным образом, пренебрегал тем, что сущность дела, понятная для всех, компрометирует его. Первая палата его действовала реакционно, непопулярно, и непопулярность переходила с нее на Луи-Филиппа, сохранявшего палату, стало быть довольного ею.

Палата во всем показывала, что довольна прежними учреждениями и не хочет реформ. Если кому, кроме парижских простолюдинов, июльская монархия была обязана своим возникновением, то, конечно, газетам. Они проложили Луи-Филиппу путь к престолу. Неумение понять важность их сочувствия, то есть важность сочувствия со стороны общественного мнения, было причиною гибели Бурбонов. Луи-Филипп с первого же раза стал держаться той же ошибочной системы. В законодательных вопросах его желания прикрывались решениями палаты депутатов: когда здесь и при всех следующих законодательных вопросах мы

будем говорить о большинстве палаты, читатель постоянно должен понимать слова «большинство депутатов» в смысле: «те депутаты, действия которых соответствовали системе Луи-Филиппа, которые составляли большинство в палате только потому, что Луи-Филипп находил это нужным для своих целей». С этим замечанием скажем, что первым важным решением палаты депутатов по учреждении нового правительства было выражение решимости сохранить те законы, которые при Бурбонах предназначены были для стеснения журналистики. В начале ноября были прения о предложении Траси уничтожить газетный залог (cautionnement<sup>18</sup>) и о предложении Барта уничтожить газетный штемпель (timbre). Обе эти вещи были тяжелы для газет. Взнос огромной суммы при основании газеты в виде залога, конечно, затруднял основание новых газет. Еще тяжеле было правило, что газеты могут быть печатаемы только на бумаге, к которой приложен штемпель, стоивший несколько сантимов. Этою платою за штемпель годовая цена газет значительно возвышалась, то есть сильно ограничивалось их распространение в публике. Само собой разумеется, что эти стеснительные меры в сущности производили действие, противное тому, какого ожидало от них правительство: чем меньше было число газет, тем сильнее была каждая из них, и малочисленность газет, принадлежавших каждой партии, не давала партии простора раздробляться на многочисленные оттенки, раздоры между которыми ослабляли бы партию: имея один орган, члены партии невольно держались плотно между собою. Уменьшение числа экземпляров газет, производимое штемпелем, нимало не мешало расходиться их мнениям в публике: напротив, малочисленные люди, читавшие газеты, естественно становились руководителями остальных, и любопытство этих остальных, которое могло бы молча удовлетворяться чтением дешевых газет, теперь вело к расспросам, разговорам, шумным спорам, всегда оказывающим больше влияния на мысли, чем одинокое чтение. Но, по обыкновению, реакционеры замечали только внешнее действие своих распоряжений, не соображая этого внутреннего результата, вредного для них самих. Они видели, что штемпель и залог вредят газетам — этого было для них довольно; того, что и штемпель и залог увеличивают влияние газет и содействуют организации плотных партий, реакционеры не замечали. Поэтому предложение об отмене штемпеля было отвергнуто палатою; точно так же отвергла она предложение об отмене залога, и, между прочим, Гизо надменно сказал: «Залог должен быть сохранен, потому что служит гарантией, показывающею принадлежность людей, основывающих газету, к известному классу общества». Это значило, что благонамеренными и почтенными людьми признаются только люди зажиточного класса. Можно судить, как действовали такие надменные мнения на гордых парижских пролетариев. Правительство с первого же раза выказало,



что не любит и боится газет. Мы постоянно будем видеть, какой вред приносила ему такая система, которая, наконец, и довела июльскую династию до падения.

Но иной системы относительно газет, то есть общественного мнения, не могла держаться консервативная партия. Без удовлетворения современным потребностям, она не могла ждать от общественного мнения похвал своей политике. А все законы, составлявшие предмет совещаний палаты депутатов, имели характер, не соответствовавший нуждам общества.

Франция страдала от централизации и бюрократии. Эти формы управления были организованы Наполеоном сообразно деспотическому характеру всей его системы. Он не хотел терпеть никакой самостоятельности в обществе, хотел, чтобы все зависело лично от него, докладывалось ему и решалось им. Реставрация, стараясь истребить все хорошее, перешедшее в законы Наполеона из постановлений предшествовавших ему национальных собраний, усердно сберегла все дурные элементы, введенные в законодательство его стремлением к произволу. Луи-Филипп подражал Бурбонам. Города и сельские округа не имели независимости в своих делах; они управлялись распоряжениями префектов и подчиненных префектам чиновников. Закон о муниципальной организации, принятый палатою депутатов в половине февраля 1831 года, ничего не изменял в этом положении и не возвращал самостоятельности общинам. Также неудовлетворителен был избирательный закон. Реставрация хотела сосредоточить влияние на дела в руках одного высшего сословия; средством к этому служил ей высокий избирательный ценз, по которому депутатов назначали только люди богатые, платившие до 300 франков прямых налогов с имущества. (Приблизительно считая, это значило то же, что владеть имуществом в 45 000 франков.) При таком цензе из 33 миллионов французов только 80 тысяч были избирателями. Такая тесная привилегия с самого начала служила предметом всеобщего негодования. Надобно было понизить ценз. Палата упорно боролась против общественного мнения, стараясь, чтобы понижение было как можно незначительнее. Она хотела остановиться на 240 франках, но принуждена была опуститься до 200 франков. Таким понижением число избирателей удвоилось: но все-таки они составляли малочисленный привилегированный класс в массе населения. Перед февральскою революциею из 36 миллионов жителей Франции только 200 тысяч были избирателями: из 50 человек взрослых мужчин только один имел право участвовать в выборе депутатов. Читатель знает, что упорство, с которым орлеанское правительство защищало такую неудовлетворительную систему, отказывая во всяком расширении избирательного права, послужило прямою причиною февральской революции. Благовидность высокому цензу хотели придать уверением, что он служит гарантиею известной степени образо-

ванности, необходимой для избирателя. Но фальшивость такого предложения слишком обнаруживалась тем, что палата отвергла предложение дать право выбора лицам, звание которых служит уже ручательством за их образованность. Было предлагаемо, чтобы профессора юридических наук, медицины и других университетских факультетов, нотариусы, адвокаты, судьи, офицеры становились избирателями, хотя бы и не имели требуемого цензом состояния. Эти предложения были отвергнуты, хотя звание профессора, конечно, служит более верным признаком образованности, нежели простое владение участком земли или домом, платящим 200 франков налога. Цель высокого ценза была очевидна: человек зажиточный предполагался более твердым консерваторм, нежели человек без состояния; высокий ценз избирателей служил просто ручательством за консервативность их депутатов. Но этим соображением руководились сами консерваторы, а Луи-Филипп имел и другой расчет, которым так хорошо пользуются английские олигархи в маленьких городках, где 150 или 200 человек выбирают двух депутатов. Чем малочисленнее кружок избирателей, тем легче приобрести в нем большинство голосов личными сделками с каждым избирателем. Мы знаем, как продаются голоса в маленьких английских городах и как невозможен подкуп в английских больших городах. Так, Луи-Филипп рассчитывал, что у правительства будут средства набрать 300 голосов в каком-нибудь департаменте предоставлением каждому из этих людей каких-нибудь личных выгод, и что 300 голосов составляют большинство, если число всех избирателей в целом департаменте только 500 или 550 человек. Но орденов, должностей, выгодных подрядов и денежных подарков недостало бы у министерства, если бы понадобилось подкупать не сотни, а десятки тысяч людей. Нам придется рассказывать много примеров того, как нагло производился подкуп, особенно в министерство Гизо. В последние годы июльской монархии было всем известно, что большинство депутатов, поддерживающих кабинет, выбирается людьми подкупленными и потому безнаказанно дает подкупать себя. В те времена всеобщее право выбора считалось само по себе достаточною гарантией для составления такой палаты, которая действительно была бы представительницею общественных потребностей. Теперь, когда опыт показал, что всеобщим избирательством дается власть обскурантам и реакционерам, многие лучшие люди потеряли веру в этот принцип. Дело в том, что и тут, как во всех исторических делах, разные условия общественного благосостояния связаны одно с другим, и какое из них ни возьмете в отдельности, оно оказывается непрактичным без других условий. Политическая власть, материальное благосостояние и образованность — все эти три вещи соединены неразрывно. Кто находится в нищете, тот не может развить своих умственных сил; в ком не развиты умственные силы, тот не способен пользоваться властью

выгодным для себя образом; кто не пользуется политической властью, тот не может спастись от угнетения, то есть от нищеты, то есть и от невежества. Эта неразрывность условий, похожая на фальшивый логический круг, приводит в отчаяние людей нетвердых духом или нетерпеливых. Но что же делать, если так устроен свет? Нам, вероятно, будет случай поговорить об этом подробнее, если мы доведем рассказ о французской истории до тех времен, когда вопрос о всеобщем избирательстве получил практическую важность и когда потом первые опыты всеобщего избирательства оказались так неудачны. Теперь заметим только, что не одно всеобщее избирательство, а все права и блага общественной жизни находятся теперь и, вероятно, долго еще будут находиться в нелепом положении, представляясь возможными только как результаты таких фактов, которые сами должны служить их результатами. Разумеется, мы говорим только о Западной Европе. Например, при нынешней воинственности французов невозможно им достичь благосостояния; но только благосостояние может отучить их от нелепой воинственности. Например, невозможно для них стать народом здравомыслящим, пока половина мужчин и почти все женщины находятся у них под влиянием переодетых и переодетых иезуитов: но избавиться из-под власти иезуитов могут они только тогда, когда станут народом здравомыслящим. Если надобно называть фальшивым логическим кругом, когда А может быть порождено только существованием Б, а Б, в свою очередь, может быть порождено только существованием А, и когда А и Б, существование которых необходимо для нации, одинаково не существуют или почти не существуют, — если надобно называть фальшивым кругом такое положение обстоятельств, то все народы всегда находились в этом фальшивом кругу; потому-то прогресс и шел всегда и теперь идет с такою страшною медленностью. Но если все-таки было некоторое, хотя очень медленное движение вперед, то, значит, этот фальшивый круг не абсолютно скрывает развитие жизни. Дело в том, что если каждое условие благосостояния порождается только совокупностью всех других условий, то успех, сделанный каким бы то ни было из них, все-таки отражается несколько благоприятным образом на других условиях, как бы неудачны ни были его действия в собственной частной сфере, какими бы разочарованиями ни печалили эти частные последствия людей, слишком надевавшихся на всемогущество одинокого условия. Возьмем, например, результаты декрета, внезапно давшего каждому взрослому французу голос на выборах. Прямой результат декрета противоречил ожиданиям всех честных французов<sup>19</sup>. Но что же из того? Разве все-таки не послужил этот декрет на некоторую пользу французскому обществу? Теперь увидели, что невежество поселян губит Францию. Пока не имели они голоса, никому не было заботы об этой страшной беде. Никто не замечал, что в основе всех собы-

тий французской истории всегда лежало невежество поселян. Болезнь была тайная и остававшаяся без лечения; но все-таки она изнуряла весь организм. Когда поселяне явились на выборы, тогда замечено было, наконец, в чем сущность дела. Увидели, что ничего истинно полезного не может быть осуществлено во Франции, пока честные люди не займутся воспитанием поселян. Теперь это делается, и усилия все же не остаются совершенно бесплодными. Раньше или позже поселяне станут рассудительнее, и тогда прогресс для Франции станет легче. Успокоимся же: хотя бы всеобщее избирательство и не удержалось при восстановлении законных учреждений во Франции, хотя бы горькие плоды, принесенные декретом о нем, и заставили общественное мнение на время отвергнуть всеобщее избирательство, все-таки декрет о нем, при великом прямом вреде, принес косвенным образом несравненно большую пользу. А со временем, когда горечь первой неудачи пройдет, общественное мнение возвратится к мысли о праве каждого француза быть участником в общественной власти, и масса будет при восстановлении этого права подготовлена пользоваться им лучше, нежели воспользовалась при первом его установлении. Не говорим уже о том, что как бы сильна ни оказалась при восстановлении законных учреждений реакция общественного мнения против всеобщего избирательства, все-таки ценз будет установлен несравненно ниже того, какой отменен декретом о всеобщем избирательстве.

Консервативный принцип требовал, чтобы только малочисленный привилегированный кружок владывал над общественными делами: это было сделано сохранением высокого ценза. Натуральным образом, охранение порядка, устанавливаемого представителями привилегированного кружка, можно было вверять также только избранным по своему состоянию людям. С этою целью, при учреждении национальной гвардии было решено, чтобы она имела довольно дорогой мундир; благодаря необходимости такого расхода национальная гвардия составила только из людей зажиточных. Бедный класс, совершенно удаленный от участия в делах, имел против себя вооруженную силу, готовую наказать «всякую преступную попытку к ниспровержению существующих учреждений». Судить об этом каждый может как угодно; но дело в том, что кто не имеет власти, кто не имеет оружия, о том никому не нужно заботиться: что за радость хлопотать в чужую пользу? Действительно, во весь орлеанский период ничего не было сделано в пользу массы.

Мы видели характер системы, господствовавшей в те немногие первые месяцы июльской монархии, пока Луи-Филипп находился нужным терпеть в своем кабинете прогрессистов. Если в это время не было сделано почти ничего для развития общественных учреждений, если и то очень немногое, что было сделано под напором еще незаглохнувших требований взволнованного в июле

общества, было сделано так, чтобы сужить реформы в возможно меньшие размеры, — если упорный консерватизм владычествовал над июльской системою даже при Лафайете, Дюпон-Делёре и Лафите, то, разумеется, еще сильнее выказался этот принцип, когда управление перешло исключительно в руки чистых консерваторов и предводитель их, Казимир Перье, стал главою министерства.

Казимир Перье во многих книгах называется человеком непоколебимой твердости характера, — этою репутациею он был обязан своему страшно грубому высокомерию и страсти к самовластию. Он приходил в негодование от каждого слова, сказанного поперек ему, вспыхивал и изливался желчною бранью. При мягкости французских общежительных форм такие манеры отуманивали многих. Но в нашем обществе подобные люди встречаются часто, мы поприсмотрелись к этим купитерам-громовержцам и знаем, как судить о них. Под грубым высокомерием скрывается обыкновенно трусливость, как мы знаем по ежедневному опыту. Казимир Перье также был труслив, — он блистательно выказал это качество в июльские дни, когда бледнел, дрожал, прятался усерднее всех своих товарищей депутатов. Но при отсутствии опасности он был очень заносчив. Находя в Луи-Филиппе человека мягкого, деликатного, Казимир Перье обращался с ним грубо, — это ставилось ему в заслугу как доказательство независимости характера. Но при своем тонком и терпеливом уме, Луи-Филипп позволял ему грубить, потому что Казимир Перье трудился в пользу личной власти короля, которому резко запрещал вмешиваться в дела. Высокомерный министр душил либерализм; Луи-Филипп с улыбкою смотрел на рьяность грубияна, приучавшего и министров, и депутатов к послушанию. Луи-Филипп имел довольно ума, чтобы жертвовать своему расчету щекотливостью самолюбия.

Не все были так расчетливы; придворный круг не любит дельцов, которые третируют его с пренебрежением, и Казимир Перье с первого же раза имел удовольствие выказать свою силу в полном блеске. На другой день по своем вступлении в министерство, явившись во дворец, он увидел на всех лицах недовольство и недоверие. Придворные дерзко перешептывались, когда новый министр проходил мимо них, и бросали на него враждебные взгляды. Он вошел в зал, где ждала его королевская фамилия. Король был любезен, королева вежлива с ним, но принцесса Аделаида, сестра короля, уважавшего ее советы, выказывала ледяную холодность, а старший сын короля, герцог Орлеанский, не скрывал своего нерасположения к новому министру. Казимир Перье побледнел, стиснув зубы от досады, подошел к королю и попросил его поговорить с собою наедине. Они вышли в соседнюю комнату, и Перье резким тоном сказал: «Государь, прошу у вас отставки». Король изумился, смутился, начал говорить, что не

понимает причины его неудовольствия. «У меня враги в клубах, у меня враги при дворе, — продолжал Перье: — этого слишком много, государь, слишком много. Бороться против столькох врагов в одно и то же время невозможно». Луи-Филиппу нельзя было ссориться с ним: отставка через день по принятии должности наделала бы слишком много шума, а вражда Казимира Перье была бы страшна. Король старался смягчить его любезностями. Министр был непреклонен. Луи-Филипп позвал сестру и сына, объяснил им раздражение Казимира Перье и сказал, что надобно умиловить его. Заставив их просить себя, выказав свою силу над ними, Перье согласился остаться министром.

Товарищами Казимира Перье были люди незначительные, не осмеливавшиеся противоречить ему \*. Один маршал Султ<sup>20</sup> мог бы не смиряться перед главою министерства, но он не имел охоты спорить, лишь бы ему самому не мешали деспотически распоряжаться в военном министерстве и увеличивать свое богатство, потому что он был жаден к деньгам.

Казимир Перье открыто высказал свою программу, явившись в палату 18 марта (1831 года). Он объявил, что июльский переворот не был делом народного восстания, что он хочет подавить партии, иначе понимающие характер этого события, что Франция не будет оказывать никакой помощи народам, восставшим против своих правительств. Консервативное большинство палаты совершенно сочувствовало такой системе.

Но первые действия Казимира Перье для подавления враждебных партий не всегда сопровождались успехом. Впечатление, произведенное июльскими событиями, не совершенно еще изгладилось, и преследуемые смущали преследователей, напоминая о том, что дали им власть.

В июле 1830 года число республиканцев было чрезвычайно мало: оно было очень невелико и теперь, но все-таки возрастало по мере того, как все яснее становилось, что реформ нельзя ждать. Некоторые из прежних политических обществ, имевших только общее либеральное направление, начали принимать решительно республиканский цвет. Самым важным из них было «Общество друзей народа (*des Amis du peuple*)», членами которого по преимуществу были молодые люди, предводительствовавшие народом в июльской битве. Заседания «Друзей народа» сначала были публичные. Они происходили в обширной зале манежа Пелле, в присутствии многочисленных зрителей. В конце сентября правительство именем Лафайета, бывшего тогда командиром национальной гвардии, убедило «Друзей народа» отказаться от публичности

\* Военным министром был маршал Султ; министром иностранных дел Себастиани. «История десяти лет». Просим сравнить это примечание с нашим предисловием. Другими министрами были: финансов — барон Луи; юстиции — Барт; просвещения и вероисповеданий — Монталиве; торговли — д'Аргу; морских сил — Риньи.

заседаний и перенести их в какую-нибудь частную квартиру. Средства общества не были ничтожны, потому что оно отправило батальон волонтеров на помощь бельгийцам против короля голландского. Оно вело сношения с департаментами, издавало резкие прокламации. В начале октября президент общества, Гюбер, был потребован к суду за одну из этих прокламаций, которая была найдена оскорбительною для палаты депутатов. «Господа, — публично сказал он судьям: — странно видеть вас, всего через два месяца после Июльской революции, призывающими на свой суд людей, бывших не чуждыми успеху этой великой борьбы. Я не буду иметь непростительной слабости признавать вас за своих судей и защищаться перед вами. Судьи, служившие Карлу X, объявите, что вы не можете произносить надо мною приговора. Народ снял с вас власть, возвратив свободу вашим жертвам, и вы сами подтвердили его приговор, бежав, когда другие сражались. Взгляните на нашу трехцветную кокарду: два месяца тому назад вы стали бы позорить ее, называя эмблемою мятежа. Как вы отважитесь с прежнею самоуверенностью судить людей, носивших ее наперекор вашим наказаниям? Как вы отважитесь, сидя на ваших креслах, с которых сняты лилии, выносить взгляд людей, которые изгнали кумира, погубившего столь многих?» Народ аплодировал этому гордому языку, и судьи еще робели перед обвиняемыми.

Мы говорили, что во время волнений 21 и 22 декабря народ рассчитывал на содействие артиллеристов 2-й батареи национальной гвардии. Они действительно хотели соединиться с народом, и на луврском дворе, ими занимаемом, произошло некоторое волнение. Девятнадцать человек артиллеристов были преданы суду. Главными из обвиненных были командиры 2-й батареи, Гинар и Кавеньяк, и Трелà, записавшийся в нее простым артиллеристом.

Двое из этих людей, быть может, известны читателю по событиям 1848 года: Гинар командовал тогда одним из легионов национальной гвардии и действовал смелее других командиров; Трелà был министром публичных работ в июне и имел несчастье, оказавшись уже человеком отсталым, сделать или одобрить безрассудные распоряжения, следствием которых было июньское восстание. Третий, Годфруа Кавеньяк, брат Эжена Кавеньяка, сделанного диктатором в июньскую битву<sup>21</sup>, был уже и в 1830 году одним из главных людей республиканской партии, а по смерти Армана Карреля стал ее предводителем; его славе Эжен Кавеньяк был обязан своим возвышением, которым так плохо воспользовался. В то время все они были еще молодые люди. Их и шестнадцать человек других обвиняли в намерении произвести восстание для провозглашения республики. Процесс их был веден уже в апреле 1831 года при министерстве Казимира Перье.

Когда обвиненные вошли в залу суда, сотни зрителей приветствовали их аплодисментами. Не думая защищаться, Кавеньяк

и его товарищи сами нападали на своих обвинителей, то с желчною ирониею, то с гневною серьезностью. Прения продолжались несколько дней, сочувствие зрителей к обвиняемым возрастало с каждым днем. Доктор Трелà, человек строгих нравов и нежного, сострадательного характера, был любимцем бедняков, потому что бесплатно ходил лечить и утешать их. Он представил трагическую картину нищеты, свидетелем которой постоянно был, напоминал о не сдержанных обещаниях, о забытых услугах. После него говорил Годфруа Кавеньяк, изящный и блистательный, но весь предавшийся серьезному изучению общественных вопросов, человек замечательного ума и великого красноречия. Он начал оправданием памяти своего отца, который служил тому же делу, как и он, и был оклеветан вместе с другими деятелями времен, предшествовавших учреждению директории. «Я наследовал свои принципы, — сказал он. — Наука утвердила меня в направлении, которое естественно получил мой политический взгляд, и теперь, когда, наконец, представляется мне случай произнести слово, гонимое другими, я без страха и без аффектации объявляю свое задушевное убеждение: я — республиканец». «Республиканскую партию обвиняют в заговорах, — продолжал он, — это обвинение пусто: с тех пор как совершаются революции, заговорами не стоит заниматься. Республиканская партия так уверена в своей будущности, что может ждать ее терпеливо и полагаться в судьбе своей на счастье нации. Республиканцы предоставляют самому правительству вести заговоры на погибель нынешних учреждений ошибками и неправдами, которые оно совершает. Республиканцам нет нужды торопиться: они знают, что есть в обществе разлагающий элемент, столь сильно разрушающий все прежние средства к управлению, что власть неизбежно должна быть пересоздана. Управлять обществом без коренных преобразований теперь труднее, нежели изменить все учреждения. Против республиканцев вызывают воспоминания Конвента; но из всех правительств, сменившихся во Франции, один Конвент не был низвергнут, а добровольно отдал власть, сходя со сцены победоносно». Он доказывал, что республиканская форма правления — самая приличная и удобная для Франции, что Франция стремится к ней, и заключил свою речь словами: «Мы исполняли свою обязанность к отечеству, и Франция найдет нас готовыми на призыв ее всегда, когда мы понадобится ей; все, чего бы ни потребовала она от нас, мы отдадим ей». Аплодисменты публики служили продолжением его речи. При таком сочувствии зрителей, при такой смелости обвиненных адвокатам их почти не нужно было защищать их; они были оправданы. Зрители бросились к обвиненным, чтобы проводить их с триумфом. Гинар, Кавеньяк и некоторые другие успели скрыться от готовившейся им овации; Гилье был пойман и отнесен домой на руках, несмотря на все свои просьбы и усилия. Трелà и д'Эрбенвиль сели в карету и велели кучеру ехать



скорее, но толпа нагнала карету, остановила ее, со всех сторон посыпались цветы, народ отпрягал лошадей. Трелà и д'Эрбенвиль напрасно говорили народу, что он должен сохранять гордость и в изъявлениях сочувствия, что такие знаки симпатии неприятны для них самих: толпа, не слушая их, повезла на себе карету, и по всей дороге до квартиры Трелà поезд двигался среди аплодисментов и криков. Это было 15 апреля (1831). Министерство было раздражено и хотело загладить свою неудачу насилием. На другой день по улицам Парижа ходили войска, как будто для того, чтобы вызвать народ к столкновению. Но республиканцы убили его сохранить тишину.

В это время приближалась раздача медалей за июльские дни. На медали хотели сделать надпись «дана королем». 1 200 человек, которым назначалась медаль, собрались в Сомонском пассаже и решили не принимать медали, если эта надпись на ней не будет уничтожена. Под влиянием судебного поражения, правительство уступило и уничтожило надпись. Казимиру Перье самому было приятно иметь тут новый предлог, чтобы уколоть Луи-Филиппа.

20 апреля были отсрочены заседания палаты депутатов, а 3 мая она была распущена и назначены новые выборы. Ничтожность перемены, сделанной в избирательном законе слабым понижением ценза с 300 на 200 франков, обнаруживалась тем, что в новой палате большинство осталось прежнее; это значило, что сохранили преобладание те же самые классы, какие имели его и до Июльской революции. Наш вообще печальный взгляд на историю происходит вовсе не от того, чтобы мы отрицали прогресс: напротив, много раз мы доказывали, что прогресс есть следствие причинной связи, неизменно действующей повсюду и всегда, что он имеет за собою такую же необходимость и неизбежность, как те законы, о которых говорят естественные науки, как закон тяготения или химического сродства. Несомненно был некоторый прогресс и в истории Франции за те годы, события которых мы рассказываем. Ценз в 200 франков все же лучше ценза в 300 франков, и все же оказывал несколько лучшее действие. Прогрессисты в новой палате были сильнее, нежели в прежней. История грустна только потому, что прогресс идет очень медленным шагом, подобно геологическому и зоологическому развитию. Климат Франции стал теперь несравненно мягче и благоприятнее для человека, чем был во время Цезаря, когда покрывали Галлию леса и болота. Мы нисколько не отрицаем того, что и человеческая жизнь во Франции теперь гораздо лучше, нежели в XV, или XVII, или XVIII веке. Печально только то, что улучшение в жизни идет так медленно, что лишь наука открывает его посредством своих тонких наблюдений, как только она открывает его и в климате, а для простого практического чувства улучшение и в климате, и в жизни

слишком мало заметно. Впрочем, так было всегда, и наше поколение не имеет основания жаловаться на свою судьбу: более счастливых поколений не бывало. Эти последние слова могут служить к смягчению гнева, который мы заслуживаем со стороны умеренных либералов, восторгающихся настоящим временем: эти почтенные люди могут с торжеством сказать: ну, вот вы сами признались, что наше поколение самое счастливое во всей истории, стало быть, оно очень счастливо. Мы не будем возражать.

Итак, прогресс был, прогресс удивительный, великий. В новой палате число прогрессистов удвоилось; еще несколько голосов, всего каких-нибудь 20 или 30 голосов, и они имели бы большинство. Близка победа. И действительно, через несколько лет досталась им победа. Мы увидим, как стали они держать себя тогда, много ли хорошего они сделали для родины, когда получили власть. Впрочем, мы нимало не станем винить их, если окажется, что они сделают не очень много; мы не станем упрекать их в измене убеждениям, в неисполнении обещаний. Обещания были и малы, и неопределенны, а в убеждениях своих огромное большинство прогрессистов всего на один миллиметр, т. е. на одну сороковую часть вершка, расходилось с консерваторами. Но из-за этого миллиметра шел спор, поднимались крики, будто о завоевании целых областей.

При самом открытии палаты прогрессисты доказали увеличившуюся свою силу. Правда, им не удалось сделать президентом своего кандидата Лафита: но зато, воспользовавшись некоторым раздроблением консервативных голосов, они сделали вице-президентом Дюпон-Делёра, который недавно вышел из министерства за свой демократизм. Это было неудачею для министерства, и Казимир Перье подал в отставку. Но тут же пришло известие, что голландская армия вступила в Бельгию; являлось важное дипломатическое затруднение, нельзя было Франции иметь министерский кризис в такое время, и министерство Казимира Перье взяло назад свою отставку. Победа, уже достававшаяся прогрессистам, ускользнула из их рук и власть осталась за консерваторами. Вот один из примеров гибельного влияния, какое постоянно имеет забота о внешних делах на развитие внутренней жизни общества. Если бы мы не поставили себе за правило исключать внешнюю политику из нашего рассказа, мы на каждом шагу встречались бы с подобными примерами. Но нам кажется, что подтверждение полезной мысли, доставляемое этими примерами, далеко перевешивалось бы вредом, происходящим от уклонения мысли читателей и наших собственных соображений от истинно важного предмета, от внутренних дел, к пустым интригам и ничтожным запутанностям.

Казимир Перье, т. е. консервативный кабинет, был драгоценен для Луи-Филиппа, целям которого так усердно служил. Но нет розы без шипов; характер Казимира Перье, грубый и высоко-

мерный, был для Луи-Филиппа очень неприятною колючкою. Надменный банкир дозволил себе грубость даже при торжественной церемонии открытия новой палаты (23 июля 1831). По парламентскому правилу новая сессия открывается чтением королевской речи, которая составляется министерством и содержит его программу. Когда король читал речь, все присутствовавшие видели, что Казимир Перье следит за его словами по списку речи, который держит в руках. Такое публичное обнаружение недоверия было страшным неприличием: впрочем, читатель мог видеть на предыдущих страницах довольно фактов, служивших основанием для подобного поступка. Казимир Перье не был так просто душен, как Лафайет и Лафит.

Но скоро произошел скандал, давший прогрессистам право говорить о самом Казимире Перье точно так же, как он думал о Луи-Филиппе. После июльской битвы народ громко требовал оружия, и в удовлетворение общему настроению состав национальной гвардии увеличился. Нужно было для новых гвардейцев большое количество ружей. Чтобы получить их как можно скорее, решились сделать заказ не французским фабрикам, а английским, которые гораздо обширнее. Комиссионером выбрали банкира Жиске, которого рекомендовал тогдашнему министерству Казимир Перье. 2 октября 1830 года Жиске поехал в Лондон, чтобы купить для военного министерства 300 000 ружей. Он был не подрядчиком, а просто комиссионером. Правительство брало на себя его путевые издержки и назначало ему известный процент за хлопоты. Очевидно, он должен был заключать контракты на имя правительства, а не на свое, и сверх комиссионных денег не искать себе коммерческой выгоды от поставки. Однакож, приехав в Англию, он заключил с бирмингемскими фабрикантами Гуйлером, Айроном и Ферфексом контракт на свое имя: из комиссионера он сделал себя подрядчиком. Бирмингемские фабриканты предложили, что возмут, для исполнения подряда, старые ружья из лондонского арсенала, где было множество старого оружия. Жиске согласился, предоставив им третью часть выгоды, какую принесет этот оборот. Английское министерство с удовольствием приняло выгодную сделку: Гуйлер и Комп. обязались взамен старых ружей поставить в лондонский арсенал новые ружья, с известною рассрочкою. 17 октября 1830 года Жиске воротился в Париж. Накануне его приезда, его банковская фирма, потрясенная промышленным кризисом, прекратила платежи. На другой день по его приезде она возобновила платежи. Маршал Жерар, бывший тогда военным министром, отказался утвердить контракт, заключенный Жиске. Маршал Сульт, ставший преемником Жерара при перемене министерства, произошедший в начале ноября, также колебался принять контракт, по которому Жиске из комиссионера делал себя подрядчиком. Жиске хлопотал, и когда, наконец, спросили, по какой цене он будет ставить ружья, он назначил

по 34 франка 94 сентима за ружье. Но 27 ноября негоциант ван-дер-Мек предложил через маршала Жерара поставить все требуемое количество ружей по 26 франков, обязываясь дать ружья английской фабрикации и первого сорта. Жиске, извещенный 8 декабря об этом предложении, был сильно опечален; но Ротшильд, получив участие в предполагаемой сделке, отправился к Сульту, и на другой день Жиске был приглашен Сультом для утверждения подряда. Сравнительно с ценою, назначавшейся от ван-дер-Мека, подряд, утвержденный за Жиске, составлял для казны потерю в два с половиною миллиона франков. Алчность маршала Сульта была известна. По городу распространились очень дурные слухи о том, каким образом Сульт был убежден отдать подряд Жиске по такой разорительной цене. Когда публика стала вникать в дело, к имени маршала Сульта прибавилось имя Казимира Перье. Имея свою фирму, Казимир Перье находился, кроме того, в доле с Жиске, имея в его фирме пай в 1 200 000 франков. Фирме Жиске грозило банкротство, и контракт, заключенный с бирмингемскими фабрикантами, восстанавливал, как мы видели, его дела, то есть спасал от потерь и Казимира Перье. Молва о характере этой сделки усилилась, когда оказалось вдобавок, что ружья, поставляемые Жиске по такой чрезмерной цене, были стары и дурны.

Контракт был утвержден Сультом до министерства Казимира Перье. Но когда он сделан был первым министром, толки о подозрительности контракта стали еще сильнее. Арман Марра<sup>22</sup>, имя которого известно читателям по событиям 1848 года, когда он был членом временного правительства, мером Парижа и президентом конституционного собрания, написал в республиканской газете «La Tribune» 9 июля 1831 года статью, излагавшую это дело и содержавшую, между прочим, слова: «Правда ли, что при подряде ружей г. Казимир Перье и маршал Сульт получили *благодарность* (pot-de-vin), цифра которой составляет около миллиона на каждого из них?»

Арман Марра был потребован к суду: адвокаты Жиске и Казимира Перье защищали своих клиентов очень ловко, но публика опять была на стороне обвиненного, с жаром отстаивавшего право газет печатать статьи, подобные той, за которую его обвинили. «Министры имеют в своем распоряжении армии, казну, все национальные силы, — говорил он. — По одному знаку их движется вся администрация, восстают на их противников прокуроры и полиция. А мы, писатели, неужели не будем иметь права спрашивать, как употребляют они власть, злоупотребления при которой так легки? Неужели мы не можем выражать слухов общественного мнения, инстинкт которого так правдив и верен? Наша обязанность высока. Свобода живет недоверием. Берите себе власть, если хотите, но знайте, что, взяв ее, вы подвергаете публичному обсуждению себя, свое настоящее, свое прошедшее, все

ваши действия, даже все ваши предположения. Стыд робкому писателю, изменяющему своей обязанности из страха опасностей, с ней соединенных». Баскан, издатель газеты, в которой помещена была обвиняемая статья, представил суду письмо одного из главных лондонских оружейников, Бекуита. Баскан успел съездить в Лондон и, сказав, что имеет подряд, просил Бекуита письменно обозначить цену, по которой он мог бы принять на себя поставку. В этом условии было сказано: «ружье того самого качества, как ружья, полученные Жиске из лондонского арсенала, стоит 26 франков 50 сантимов». Суд отказался принять к делу это письмо. Арман Марра был приговорен к 3000 франков штрафа и шестимесячному заключению. Но общественное мнение решило, что он был прав, и фраза «ружья Жиске» вошла в полемический словарь.

После этого процесса внимание общества было занято принятия палаты депутатов о наследственности членов палаты перов. Мы не будем входить в технические подробности тех юридических и политических доводов, которыми защищали свое мнение приверженцы и противники наследственности звания перов. Довольно будет заметить отношение этих разных мнений к общему характеру французских учреждений. Защитники наследственности законодательной власти аристократического элемента были совершенно правы, когда говорили, что для прочности и натуральности монархической формы необходимо иметь ей вокруг династии целое сословие людей, права которых на власть были бы так же наследственны; иначе, говорили консерваторы, принцип наследственной власти, применяясь только к одному лицу, будет чем-то исключительным, не соответствующим всему остальному правительственному устройству и всем остальным общественным учреждениям; власть короля будет представляться натуральной только в таком обществе, которое считает натуральным делом наследственность политической власти вообще. С этой точки зрения противники наследственности в палате перов были очевидно неправы, воображая, что не наносят вреда самой монархии разрушением аристократических привилегий. Но если эти люди, будучи искренними монархистами (число республиканцев в палате депутатов было совершенно ничтожно), вовлекались в такое противоречие с своими собственными стремлениями, если они принуждены были обольщать себя софизмом о возможности демократической монархии, то, очевидно, они увлекались силою обстоятельств. Действительно, общественное мнение слишком настойчиво требовало уничтожения наследственности звания перов. Оно знало только, что эта наследственность несогласна с национальным образом мыслей, противоречит общему духу гражданских учреждений, водворившихся во Франции с конца прошлого века. Наследственность влияния на законодательную власть и прав на участие в высшей администрации была остатком феодального по-

рядка вещей, ненавистью к которому была проникнута французская нация. Против этого чувства не умело устоять большинство палаты депутатов, и не было этому большинству свободы сообразить, соответствует ли вражда к наследственной власти в палате перов желанию быть защитниками монархической формы. Только с этой точки зрения интересен вопрос о наследственности звания перов: в нем выказалось бессознательное республиканское направление консервативной партии, воображавшей себя такою ревностною защитницею монархической формы. Она против воли увлекалась общим духом французских гражданских учреждений и национальной ненавистью к средневековым властям.

В другом отношении интересен изданный около того же времени закон об изгнании Бурбонов. В числе множества неосновательных мнений о характере партий есть предположение, что чем умереннее убеждения партии, тем мягче средства, которыми она хотела бы вести управление, и, наоборот, чем важнее реформы, составляющие предмет желаний известных людей, тем беспощаднее они к своим противникам. Это мнение получает видимую основательность от сравнения политики крайних реакционеров с политикою умеренных прогрессистов, которая действительно гораздо мягче. Луи-Филипп, Гизо и даже Тьер являются ангелами кротости сравнительно с эмигрантами, свирепствовавшими в первые годы Реставрации. Из этого заключают, что люди, сидящие налево от центра, должны также уступать гуманностью своих правил центру, как уступают ему люди, сидящие направо от него. Но тут ошибка состоит в том, что факт характеризуется неточным признаком. Разница между реакционерами и умеренными прогрессистами заключается не в том, что реакционеры хотят перемен большего размера, а умеренные прогрессисты — меньшего, не в том, что Гизо хотел изменить только неважные подробности второстепенных учреждений, а эмигранты думали переделать все гражданское устройство общества: нет, разница в том, что Гизо хотел все-таки подвигать учреждения вперед, а эмигранты — отодвинуть их назад; большая кротость мер, нужных для Гизо, зависела от того, что его намерения были все-таки сообразнее с потребностями общества, и он все-таки был человек, имевший более современные чувства, нежели эмигранты. Нельзя отвергать того, что с течением времени европейские общества становятся гуманнее; потому, в ком более новых идей, в том должно быть больше гуманности. Еще важнее то обстоятельство, что, удовлетворяя потребности общества, человек встречает в нем сочувствие и содействие, а идя наперекор ей, возбуждает ропот и сопротивление. Прогресс учреждений состоит именно в том, чтобы они приводились в соответствие с настоящим развитием общественных потребностей: потому прогресс самую сущностью своей вызывает в своих последователях расположение к мягкому и гуманному образу действий. Если мы не захотим верить на

слово историкам, исполненным предрассудков, и станем всматриваться в самые источники наших исторических сведений, мы действительно увидим, что гуманность разных партий была вообще пропорциональна их прогрессивности, а жестокость соразмерна отсталости. Есть примеры, свидетельствующие противное во мнении доверчивой массы, привыкшей полагаться на чужое, пристрастное свидетельство. Но мы именно то и говорим, что если мы будем исследовать факты по достовернейшим памятникам, мы убедимся, что в этих примерах характер фактов искажен ненавистью пристрастных историков и что, например, в те эпохи французской истории, которые зачернены перед нами, как эпохи неслыханных насилий и жестокостей, было совершено жестокостей и насилий меньше, чем в эпохи, прославляемые за свое спокойствие.

Мы все это говорим в виде предисловия к следующим словам об изгнании Бурбонов, приводимым нами из писателя, которого многие воображают извергом, жаждущим казней. Как удивятся эти люди, увидев, что враг не только феодализма, представителями которого были Бурбоны, но и всех учреждений нашего времени, имеющих средневековое происхождение, называет бесчеловечной надменностью решение об изгнании Бурбонов, принятое консерваторами и умеренными либералами. Вот подлинные слова:

Полковник Бриквиль предложил, чтобы все члены старшей отрасли Бурбонов были объявлены навсегда изгнанными из французских пределов; и чтобы этот закон объявлял наказанием за свое нарушение смертную казнь. Надобно отдать буржуазии ту справедливость, что предложение полковника Бриквиля не нашло в ней единодушного сочувствия. Многие понимали, что такой закон нечестив и несправедлив, наказывая целый род за дела одного из его членов; что он противен принципу общечеловечности, связывая долговечный народ условиями мимолетного раздражения, что он не нужен, потому что французские законы и без того наказывают заговоры, и без него слишком кровавы; что он противоречит собственной своей цели, потому что честолюбие пробуждается опасностями, облагораживающими даже незаконные стремления, и потому, что среди благородной нации название преследуемого будет служить паспортом претенденту. Да и прилично ли было выказывать такое ожесточение против династии, уже побежденной? На трибуну вошел Мартиньяк (бывший некогда министром Карла X и заслуживший общее уважение своими напрасными усилиями спасти Бурбонов от погубившего их расположения к реакции). На его лице была печать смерти, зародыш которой уже лежал в его организме. Видя его выступившим на защиту своего старого изгнанного государя, вспоминали о его усилиях предотвратить это падение, это изгнание. «Господа, — сказал он слабым, проницавшим в душу голосом, — изгнание по нашим законам наказание позорное, налагаемое судьбою по зрелом обсуждении. А вам предлагают изречь наказание вперед, без обсуждения, против поколений еще не родившихся, против людей, о которых вы не знаете, каковы они будут. Один из ваших ораторов недавно сказал: во Франции гонение искупляет человека. Этою глубокою истиною осужден ваш закон. Если претендент придет во Францию, каждый предупредит правительство об опасности, угрожающей государственному спокойствию. Но если придет во Францию изгнанник, вперед осужденный на казнь, где вы найдете человека, который пошел бы привести за руку палача и сказать ему: вот, посмотри, этому человеку ты должен от-

рубить голову. Нет, во Франции не найдется такого человека». Оратор остановился в волнении. «Если один из этих изгнанников, наказываемых вашим предложением (заклучил он свою речь), будет приведен судьбою во Францию искать убежища, пусть он постучится в дверь того самого человека, который сделал это предложение, — отворится дверь, пусть он назовет себя, войдет в дом, — я вперед ручаюсь ему за его безопасность». Этими благородными словами был решен вопрос. Палата приняла закон об изгнании, но уничтожила всякое наказание за его нарушение. Если бы палата была последовательна, она отвергла бы все предложение, а не одну половину его.

Это говорит автор «Истории десяти лет» \*. Мог ли ожидать от него таких слов кто-нибудь, знавший о нем только по словам его противников, а не по его собственным сочинениям и действиям? Надобно прибавить, что он и его политические друзья не только говорят, но и действуют в том же духе: в 1848 году они противились изгнанию орлеанской фамилии.

До сих пор перед нами проходили события, имевшие чисто политический характер. Но вот Лион подал первый пример тех волнений нового рода, которые, постепенно возрастая, оттеснили на второй план политические вопросы во внутренней жизни Франции и в 1848 году дали событиям направление, смущающее ныне столь многих <sup>23</sup>.

Организация лионской шелковой промышленности была в 1831 году почти такова же, как теперь. Она занимала от 30 до 40 000 подмастерьев (*ouvriers compagnons*), которые жили со дня на день, не имея ни денег, ни кредита, ни постоянных квартир. Выше их находился класс хозяев, или мастеров (*chefs d'atelier*) \*\*, число которых простиралось от 8 до 10 тысяч. У каждого хозяина было четыре или пять станков, и работавшие за ними подмастерья отдавали за станок хозяину половину платы, которую получали от фабриканта за работу. Фабриканты, числом до 800 человек, составлявшие третий класс, занимали средину между мастерами и так называемыми комиссионерами, от которых сами получали заказы и шелк. Таким образом, было четыре разряда, из которых каждый тяготел над следующим. Комиссионеры давили собою фабрикантов, фабриканты — мастеров, и стесненные мастера не могли не давить подмастерьев; такое отношение производило глухую ненависть каждого низшего разряда против того, который тяготел над ним. Пока промышленность шла без остановки, дело ограничивалось глухим ропотом. Но еще до июльского переворота лионская фабрикация стала впадать в затруднительное положение. Производство шелковых материй развилось в Цюрихе, в Базеле, в Берне, в Кёльне; Англия также начала сама производить у себя шелковые товары, которые прежде брала из Лиона. Кроме иностранного соперничества, уменьшавшего сбыт, явилось другое

\* Луи Блан, «История десяти лет», т. III, стр. 32—34. Ред.

\*\* Кустари, владельцы ткацких светелок. — Ред.



обстоятельство, тяжёлое для работников. С 1824 года число фабрикантов стало сильно увеличиваться; от этого усилилось между ними соперничество. Следствием всего было, разумеется, понижение заработной платы. Вместо прежних 4 или 6 франков в день, хорошие работники стали получать только по 2 франка, по 2 франка без четверти, по 1 франку с четвертью. Понижение шло постепенно, и в ноябре 1831 года работник, ткавший гладкие материи, получал уже только 90 сантимов (20 коп. сер.), работая 18 часов в сутки. Нищета подмастерьев дошла до крайности. Сами мастера впали в жестокую нужду: понижение заработной платы не оставляло им средств платить за наем мастерской по возвысившимся ценам квартир. Жалобы были общие. Подмастерья и мастера сблизились между собою в общей беде.

Лионским префектом был человек, умевший обращаться с народом, Бувье-Дюмолар: он видел, что придется или употребить крутые меры против мастеровых, или помочь их нужде, и решился помочь. Но его власть была слаба. Муниципальный совет вообще враждовал против префекта, а генерал Роге, командовавший войсками в Лионе, был личным врагом префекта. Роге, храбрый солдат, не понимал ничего, кроме военного ремесла, и считал жалобы рабочего населения просто следствием мятежного духа. 11 октября 1831 года промышленный посреднический совет (*conseil des prud'hommes*), члены которого выбирались из мастеровых и фабрикантов с тем, что число членов от фабрикантов было одним больше числа членов от мастеровых, принял решение следующего содержания: «Принимая в соображение общеизвестный факт, что многие фабриканты действительно платят за ткань слишком мало, признается полезным определить тариф наименьших цен работы». Посреднический совет занялся этим вопросом по приглашению генерала Роге; префект, несмотря на свою вражду с генералом, решился действовать в пользу этого постановления и 15 октября собрал на совещание членов Лионской торговой палаты, меров города Лиона и его предметов. На этом совещании было положено, чтобы тариф наименьшей платы был постановлен по соглашению между 22 работниками, из которых 12 были уже выбраны своими товарищами, и 22 фабрикантами по выбору торговой палаты. Фабриканты остались недовольны таким решением, но работники почли его благодеянием. 21 октября собрались 22 фабриканта, выбранные торговой палатой, и 12 депутатов от мастеровых. Но фабриканты сказали, что, будучи назначены не своими товарищами, а торговой палатой, они не могут составлять положений, обязательных для всех фабрикантов; им был дан срок, чтобы получить полномочие от сословия фабрикантов, а работники в эти дни должны были выбрать остальных десять депутатов в дополнение к прежним двенадцати. Но между тем кризис становился сильнее. Каждый вечер на площадях собирались толпы работников, рассуждая

о жестокости промедления при трудности их обстоятельств. 25 октября было назначено днем заседание комиссии для окончательного установления тарифа. В десять часов утра улицы Лиона представляли замечательное зрелище. Десятки тысяч рабочих в стройном порядке молча сходили с высот предместья Красного Креста, которое населено ими, и шли по городу к префектуре ждать решения своей судьбы. Они стояли смиренно и молча. У них не было ни оружия, ни палок; только начальники отрядов имели небольшие палочки, означавшие их власть, и трехцветное знамя развевалось над мирною толпою. Демонстрация имела спокойный характер, но Бувье-Дюмолар хотел отстранить всякий повод к клевете. Он вышел в мундире к работникам, сказал им, что дурно будет, если их присутствие станут выставлять понуждением при составлении тарифа, и поэтому пусть они разойдутся: тогда он откроет заседание комиссии. С криками «ура профекту!» бедняки тихо и в порядке воротились домой. По их удалении, началось заседание комиссии. Депутаты работников выказали такую умеренность, что в некоторых работах согласились даже на понижение прежних цен. Тариф был составлен, подписан депутатами обеих сторон; комиссия поручила промышленному посредническому совету наблюдать за его исполнением и назначила известный день в неделю для занятий этим предметом; работники были в восторге. Предместье Красного Креста вечером было иллюминировано, танцы и пение в нем продолжались до глубокой ночи. Работники так были расположены довольствоваться своим первым успехом, что их депутаты хотели сложить свое звание. Но префект просил их остаться официальными лицами, надеясь иметь в них полезных помощников для поддержания порядка.

Некоторые из фабрикантов были также довольны введением тарифа: они понимали, что он защищает большинство самих фабрикантов от угнетения капиталами нескольких сильных спекулянтов. Но большинство фабрикантов было раздражено. Они называли тариф несносным тиранством. 10 ноября 400 человек из них собрались и подписали протест против тарифа: «Работники требуют чрезмерно большой платы, потому что создали себе прихотливые потребности», говорили они в этом документе. Бувье-Дюмолар, запуганный их угрозами, 17 ноября прочел посредническому совету бумагу, которой объявлял ему, что тариф не имеет обязательной силы, а служит только основанием для частных сделок между фабрикантом и работником. В Лион пришел слух, что министр торговли не одобряет действий префекта. Генерал Роге говорил, что надобно принять крутые меры, чтобы работникам нельзя было возобновить манифестаций, подобных манифестации 25 октября. Он держал солдат в готовности к вооруженному действию и удвоил караулы, присоединив к солдатам национальных гвардейцев первого Лионского легиона, состоявшего из фабрикантов. Тариф перестал исполняться многими

фабрикантами, посреднический совет перестал наблюдать за его охранением. Доведенные до прежней крайности, несчастные работники решились отказаться на неделю от работы и возобновить мирные манифестации, условившись громко выражать свою признательность при встрече на улицах с теми фабрикантами, которые выказывали к ним доброжелательство. Но именно умеренность работников усиливала раздражение их врагов, приобретавших более самоуверенности. Один фабрикант показывал работникам пистолеты, приготовленные у него на столе; другой сказал: «Если у них нет хлеба в животе, мы набьем его штыками».

20 ноября был смотр национальной гвардии. Зажиточные гвардейцы явились на него в мундирах новой формы; люди нуждавшиеся, то есть хозяева мастерских, оставались в мундирах старого покроя. Над ними стали смеяться фабриканты, щеголявшие новыми мундирами. Ответом на насмешки служили угрозы. Вечером в городе было некоторое беспокойство за следующий день. Префект в сопровождении мера и начальников национальной гвардии хотел отправиться к Роге, чтобы условиться с ним о мерах для охранения порядка. Комендант по вражде к нему не захотел его принять. Бувье-Дюмолар сделал распоряжение, чтобы национальная гвардия собралась в 7 часов утра. Эти распоряжения не были исполнены, и на уведомления о них Роге отвечал презрительной запиской, в которой говорил, что префекту незачем хлопотать о сохранении порядка, потому что он, комендант войск, сам займется этим: а сам он между тем был болен и не знал хорошенько местности Лиона.

Лион расположен на узком мысе между Роною с востока и Соною с запада. Предмесье Красного Креста лежит на север от Лиона, на возвышенности, господствующей над городом. Между этим предмесьем и городом находится терраса, возвышающаяся над самым предмесьем; по ее отлогости идут в город две главные дороги; та из них, которая налево, называется Косогорною (Grand'Côte).

В понедельник 21 ноября, в восьмом часу утра, 300 или 400 человек шелковых работников собрались в предмесьи Красного Креста; с ними был их синдик. Они хотели ходить по мастерским, чтобы приглашать к прекращению работы до восстановления тарифа. Вдруг явился отряд человек из 60-ти национальных гвардейцев; офицер скомандовал: «Друзья, надобно разогнать эту сволочь!» Они бросились со штыками на работников. Работники окружили их, обезоружили и прогнали. Толпы стали увеличиваться, но в них еще не было мятежных мыслей. Они только хотели возобновить свою мирную манифестацию 25 октября и пошли в город по Косогорной дороге, по четыре человека в ряд, держась за руки. Гренадеры 1-го легиона, состоявшего из фабрикантов, пошли навстречу им из города. На середине дороги между городом и предмесьем они встретились

с работниками, приложились, дали залп, и восьмеро из работников упали, тяжело раненные. Остальные в беспорядке бросились назад в свое предместье с криками отчаяния. В минуту все предместье Красного Креста взволновалось: из всех домов посыпались люди, вооруженные палками, лопатами, кольями, вилами. У некоторых были ружья. Всюду раздавались крики: «К оружию! бьют наших братьев!» По улицам стали подниматься баррикады; женщины и дети помогали строить их. Работники захватили две пушки национальной гвардии предместья Красного Креста и двинулись на Лион; впереди шли барабанщики, над ними развевалось черное знамя, знамя пролетариата<sup>24</sup>, на этом знамени был девиз: «Жить работою или умереть в бою» (*vivre en travaillant ou mourir en combattant*). Был 11-й час в конце.

В городе между тем Роге мешал префекту. Он велел принести себя в ратушу, где был уже Бувье-Дюмолар. Префект требовал, чтобы он велел раздать патроны. — «Не от вас мне получать приказания, я знаю сам, что делать», — отвечал комендант. В половине 12-го патроны были, наконец, розданы; префект с генералом Ордонно повели колонну линейных войск и национальной гвардии по Косогорной дороге. На верхнем пункте ее уже стояла баррикада. Подъем тут очень крут и с обеих сторон тянутся дома, в которых во всех живут работники. Град черепиц, камней и пуль посыпался на колонну, когда она стала подниматься к баррикаде. Префект был ранен камнем, многие вокруг него упали, колонна отступила. Два офицера национальной гвардии Красного Креста, соединившейся с работниками, вышли вперед, прося префекта быть парламентарем. Он пошел за ними в предместье, вошел на балкон, чтобы говорить народу, волновавшемуся под окнами. По временам его слова прерывались отчаянными криками: «Работы или смерти!» Неприятные действия казались прекратившимися, как вдруг в трех разных местах слышались ружейные залпы и пушечные выстрелы. «Предательство! мстить!» — закричали работники и бросились на префекта, сорвали с него шпагу, повели его, подняв сабли над его головою, в другой дом и оставили там под караулом. Генерал Ордонно также был схвачен и приведен в квартиру работника Бернара, который защитил его.

Между тем в городе били тревогу, собирались войска и национальная гвардия. Эскадрон драгун с батареею артиллерии национальной гвардии прошел до предместья Красного Креста по правой, Кармелитской дороге, ведя жаркую перестрелку, потому что эта дорога также опоясана домами, в которых живут работники. В предместьи он, поддержанный батальоном национальной гвардии, упорно бился; земля была покрыта мертвыми и ранеными, когда принесена была записка от генерала Ордонно, приказывавшая войску и гвардии отступить. Они повиновались, не зная, что Ордонно в плену.

Вооруженные работники требовали у префекта, чтобы он подписал приказ выдать им 40 000 патронов и 500 картечных зарядов. Он не соглашался, и многие грозили ему; но большинство, и в том числе Лакомб, один из мастеровых, предводительствовавших восстанием, выказывали Бувье-Дюмолару свою привязанность, даже предлагали, чтобы он, переодевшись, ушел из плена. Уйти тайным образом префект не согласился, но вечером вышел к толпам инсургентов и сказал: «Послушайте: если вы хотя минуту могли думать, что я изменял вашим интересам, оставьте меня заложником; но если вам не за что упрекнуть меня, пустите меня воротиться к управлению делами, и вы увидите, что я неизменно буду поступать, как добрый отец». Работники начали спорить между собою, отпускать ли его; но в восьмом часу вечера, наконец, отпустили. Когда он проходил по улицам предместья, наполненным инсургентами, некоторые роптали, но ропот покрывался криками «ура префекту, ура отцу рабочих!» Ночью был отпущен и генерал Ордонно\*.

В Лионе находилось до 3000 войска; Роге призвал еще один полк, который пришел ночью. Поутру (22 ноября) он послал отряд на предместье Красного Креста, но работники окружили солдат и заставили их положить оружие; обе дороги, ведущие в город, были во власти инсургентов, и тысячи людей, вооруженных чем попало, двинулись на город. Битва на лионских улицах продолжалась целый день. Постепенно почти вся лионская национальная гвардия перешла на сторону инсургентов: только отряды, состоявшие из фабрикантов, до конца остались заодно с войском. Фабриканты стреляли по инсургентам из окон, Роге истреблял их картечью — все было напрасно. Работники отбивали одну позицию за другою, брали в плен один отряд за другим. К ночи они владели всем городом, кроме окрестностей ратуши, куда отступили войска. Роге увидел невозможность продолжать сопротивление и ночью вывел войска за город, оставив префекта в Лионе хлопотать о восстановлении порядка мирными средствами.

Бувье-Дюмолар пригласил к себе Лакомба и других работников, имевших влияние на товарищей. Они признали его власть, объявили, что не имеют ничего против правительства, что хотели только спасти себя от истребления. Они подписали прокламацию, составленную в этом смысле (23 ноября), и обыкновенное городское начальство было восстановлено самими инсургентами. Работники не делали никаких жестокостей во время боя, сохраняли дисциплину, поступали с пленными солдатами и фабрикантами ласково и предупредительно, а немедленно по прекращении битвы восстановилась в городе полная безопасность. Ни о чем, подобном грабежу или воровству, не могли говорить и самые жесто-

---

\* Пропущены пошлые рассуждения Луи Блана. — Ред.

ченные противники работников. Когда какие-то два плута вздумали было воровать во время битвы, работники, поймав их, приговорили своим судом к смерти и расстреляли. Они охраняли жизнь и собственность самых враждебных им фабрикантов, как охраняла бы самая заботливая администрация.

Так прошло полторы недели. Наконец 3 декабря, около 12 часов, явилась прокламация, объявлявшая, что в Лион прибыли принц Орлеанский, старший сын короля, и маршал Султ, военный министр. Они вступили в город, предводительствуя сильным войском, которое шло боевыми колоннами, с заряженными ружьями, с пушками при зажженных фитилях.

Маршал Султ немедленно принял меры, каких и следовало ожидать. У работников было отобрано оружие; национальная гвардия Лиона и предместья Красного Креста была распущена. Лион и предместье, наводненные 20 000-ным войском, были объявлены в осадном положении; предместье Красного Креста стали окружать фортами с многочисленными батареями. Множество работников было арестовано.

Теперь, разумеется, не стало надобности сохранять тариф, поддержание которого было единственною целью инсургентов и единственным их требованием после победы. Бувье-Дюмолар за «неблагоразумные действия» был отставлен от должности; он был болен, но маршал Султ приказал ему выехать из города, хотя бы за два льё, если не может ехать дальше до выздоровления. Бувье-Дюмолар был изгнан как негодяй и злодей из Лиона, который спас для правительства; он был вывезен из города больной, в суровую зимнюю погоду, оставляя в тревоге многочисленное свое семейство, состоявшее из 82-летней матери и маленьких дочерей.

Странное впечатление произведено было на Францию лионским восстанием. Непонятно казалось оно, и потому сначала наполнило умы тревогою. Лионские работники поднялись не за Генриха V, не за Наполеона II, не для провозглашения республики, — зачем же они восстали, чего хотят? — Чего-то чуждого понятиям всех порядочных людей, даже самых увлеченных крайними республиканскими понятиями. «Жить работою или умереть в бою» — это девиз, чуждый всем партиям: что же будет такое? Могут ли все партии считать безопасным для себя этот класс, или все должны соединиться против него?

Но забота эта была новая, непривычная для тогдашнего поколения, уже забывшего о Бабёфе<sup>25</sup>. Палата депутатов одобрила строгие меры правительства, газеты не видели в лионском восстании отношения к своей полемике о политических формах, общественное внимание тотчас же было поглощено другими делами, и вопрос, поднятый в Лионе людьми, не участвующими в политической жизни, скоро был забыт.

V. Королевский бюджет. — VI. Вандейское восстание и плен герцогини Беррийской. — VII. Похороны Ламарка и восстание 5—6 июня.

Рассказ о событиях июльской монархии нам приходилось начать странною историею завещания и смерти герцога Конде, бросавшею самый невыгодный оттенок на характер человека, которому поручена была судьба государства. Вторую статью нам опять приходится начать рассказом о происках, имевших такой же характер, производивших на французское общество такое же впечатление. Одним из главных дел новой палаты депутатов было определение бюджета для короля. Едва приняв власть, Луи-Филипп стал хлопотать о том, чтобы избежать исполнения скромных обещаний, какие делал во время июльского переворота для привлечения к себе энтузиастов, подобно Лафайету мечтавших о республиканской простоте при монархическом устройстве. Он говорил тогда о чрезмерности расходов на придворный штат при Бурбонах и восклицал: «6 000 000 франков — вот самое большое, что может понадобится королю-празднику!». Но как только объявлен был он королем, он стал вести придворные расходы на сумму втрое большую. Очень может быть, что он был прав, находя нужным для сохраненной французами формы правления такую обстановку; но публика, по обыкновенной своей непоследовательности, не хотела знать о существенных условиях формы, которую поддерживала, а твердила только о несоразмерности новых требований с прежними обещаниями. Составлен был проект королевского бюджета в 20 миллионов франков; умеренный либерализм поступил и тут по своей обычной системе поднимать великий шум из-за пустяков. Дело было еще при министерстве Лафита. Он, увидев проект, составленный придворными, выразил изумление громадности цифры: по его мнению, было бы достаточно 18 миллионов. Стоило ли спорить из-за такой мелкой разницы? 18 или 20 миллионов, ведь это было бы почти все равно и для Луи-Филиппа, и для государственных расходов. Но Луи-Филипп не соглашался сбавить десяти процентов из своей цифры. Лафит находил, что очень важна будет экономия на 2 миллиона из 20, что характер придворной обстановки сильно переменится от такого сокращения. Назначена была комиссия из членов палаты депутатов для рассмотрения проекта. Палата, еще бывшая под впечатлением июльских обещаний, подобно Лафиту, пришла в ужас, узнав цифру: вероятно, ей казалось, что было бы довольно не 20, а тоже 18 или 18 с половиною или 17 с половиною миллионов. Впечатление, произведенное проектом, было очень сильно и дурно. Луи-Филипп нашел нужным отложить вопрос, и путь к отступлению был выбран им точно такой же, как всегда: хитрость до того тонкая, что, удовлетворяя форме, никак не могла скрыть сущности дела. Он прибег к преданности Ла-

фита. Условились, чтобы он написал к Лафиту письмо, в котором жаловался бы на опрометчивое усердие придворных и говорил бы, что никогда не давал своего одобрения цифре, ими введенной. Это письмо должно было иметь характер секретного; но Лафит по неосторожности должен был прочесть его перед членами комиссии, и, благодаря опрометчивому нарушению тайны, комиссия получала и передавала палате, а палата публике — все это по секрету — неопровержимое доказательство бескорыстия Луи-Филиппа, бескорыстия, которое коварно насилуется безрассудными придворными. Все сделалось по условию, и вопрос о королевском бюджете был отложен до благоприятнейших обстоятельств.

Время возобновить его пришло, когда пал Лафит и с образованием министерства Казимира Перье власть исключительно перешла в руки безусловных консерваторов. Новая палата уже не помнила июльского обещания о 6 миллионах и твердила только о надобности дать королю приличную обстановку. И тут опять способ действия был выбран самый тонкий: в проекте королевского бюджета министры не выставляли цифр, а только конфиденциальным образом убеждали разных членов палаты депутатов назначить 18 с половиною миллионов из государственного казначейства. Велика или мала была эта цифра, нужны или нет были прибавки к ней, но сделали еще новую ошибку из желания не говорить о 20 с лишком миллионах. Если нужно давать людям неприятный сюрприз, всего расчетливее бывает давать его одним приемом в одной пилюле, а не дробить на несколько разных сюрпризов. По расчету слишком тонкому не было соблюдено это условие, требуемое грубостью вкуса публики. Сначала сообщили ей об 18 с половиною миллионах чистых денег из общих доходов государства, потом стали обнаруживать требования на разные прибавки под разными названиями. Оказалось, что кроме 18 с половиною миллионов двор требует в личное распоряжение короля множество разных поместий и лесов, доход с которых простирается до 4 миллионов; кроме того, стали говорить о сохранении удельного содержания. До вступления своего на престол Луи-Филипп, как принц крови, пользовался удельным содержанием в два с половиною миллиона, данным ему щедростью Карла X. По здравому смыслу, да и по положительным законам Франции, это удельное содержание должно было уничтожиться со вступлением на престол лица, пользовавшегося им по титулу простого принца. Напротив, теперь требовали, чтобы удельное содержание было оставлено за Луи-Филиппом независимо от королевского бюджета. Всеми этими требованиями напомнилось публике неблагоприятное распоряжение, сделанное Луи-Филиппом при самом вступлении на престол. По основным законам французской монархии личное имущество фамилий, вступающей на престол, сливается с государственным имуществом.



Луи-Филипп поступил иначе: 6 августа 1830 года, накануне дня, назначенного для провозглашения его королем, он дарственным записью уступил своим детям громадное свое богатство, которое на другой день должно было бы стать государственным имуществом. Это старое дело припомнилось теперь.

Самые статьи основного или собственно так называемого королевского бюджета (*liste civile*) были составлены с натяжками явно несообразными. Так, например, на содержание придворной церкви было назначено в десять раз больше, чем при набожном Карле X, а Луи-Филипп не был усердным католиком. На лекарства было назначено 80 000 франков, и публика говорила, что расслабленный подагрик Людовик XVIII употреблял микстур и припарок на сумму гораздо меньшую, чем думает употреблять Луи-Филипп, пользующийся, по милости небесной, превосходным здоровьем. Под статьею «личные удовольствия» (*menus-plaisirs*) было выставлено 4 268 000 франков; этот термин понимался во Франции как расход на содержание фавориток, и забавно было назначение такой огромной суммы для Луи-Филиппа, нравы которого были строгие и семейное счастье которого было всем известно. На содержание каждой лошади было назначено по 5 000 франков, а лошадей этих полагалось 300. Луи-Филипп не блистал экипажами и упряжью: зачем же ему 300 лошадей и чем кормить их, чтобы фураж каждой стоил 5 000 франков?

Насмешкам не было конца. Особенною язвительностью отличались памфлеты Кормнена. Они доказывали, что даже при Карле X тратилось всего только 11 200 000 франков на те статьи расходов, которые теперь доводились до 18 с половиною миллионов. Прения в палате депутатов были продолжительны. Луи-Филипп достиг успеха; ему было дано все, чего он требовал, но нравственное достоинство его страшно потерпело: всем казалось, что он взошел на престол лишь затем, чтобы собирать себе деньги, принял звание короля по расчетам, какими руководится человек, берущий на аренду завод или поместье.

К довершению эффекта, в это же время возобновилось дело о завещании и смерти герцога Конде. Мы оставили его в том положении, что законные наследники, принцы Роганы, собирали материалы для начатия процесса против завещания, передавшего фамильные богатства одному из сыновей Луи-Филиппа и баронессе де-Фёшер. Наконец материалы были собраны теперь, и процесс начался. Речи адвокатов фамилии Роган были убийственны для Луи-Филиппа; все обстоятельства, изложенные нами в первой статье, были выставлены на вид с беспощадным мастерством. Были разоблачены все интриги, происходившие между баронессою и Луи-Филиппом, все нравственные мучения, каким подвергали жалкого старика, чтобы выманить у него богатство, и вся двусмысленность его смерти. Адвокаты баронессы и герцога Омальского могли отвечать только юридиче-

скими тонкостями, показывавшими недостаточность обвинений для судебного признания насильственной смерти герцога и недействительности его завещания. Но публика осталась при мнении, что если принцы Роганы не имеют полных юридических доказательств, то сущность дела была именно такова, как они говорят.

В ответ на намеки легитимистских и республиканских газет о жадности, придворные газеты вздумали отвечать указанием на молодость Луи-Филиппа, на то, что он сражался под знаменами Дюмуре<sup>26</sup>. Для газет противных партий это послужило предлогом разобрать всю прошедшую жизнь Луи-Филиппа, доказать, что он с первой молодости был интригантом: тут припомнилось, как он при помощи Дюмуре хотел овладеть французским престолом, как тогда раскрылись его сношения с австрийцами, как потом он завел интриги в Испании и был постыдно удален оттуда Веллингтоном, как интриговал для получения французского престола в 1814 и 1815 годах.

Волнение общества поддерживалось всеми этими неблагоприятными историями, и раздражение противников нового правительства усиливалось строгостями, которыми хотел принудить их к молчанию Казимир Перье. Он беспрестанно арестовывал журналистов, заводил процессы против газет, подвергал полицейским насилиям и судебному преследованию разные кружки недовольных, обвиняемых в составлении заговора. [Очень часто преследования удавались, но иногда правительство терпело поражение, а в подобных вещах одна неудача важнее сотни побед. Преследования делаются с той целью, чтобы доказать силу и твердость, и если хотя раз, хоть на шаг приходится отступить, этим уже обнаруживается слабость, и противники торжествуют. Не говорим уже о том, что борьба ведется собственно не для противников, а для произведения известного впечатления на публику, а впечатление от нее всегда, даже при наилучшем успехе дела, бывает совершенно противно ожиданию преследователей: если бы правительство действительно было сильно и прочно, думает публика, оно не стало бы заботиться, беспокоиться, хлопотать из-за таких мелочей, как журнальная статья или какая-нибудь выходка нескольких энтузиастов. Самые победы Казимира Перье над газетами и мнимыми заговорщиками подтверждали общество в том предположении, что правительство слабо, а еще безрассудней становилось преследование тем, что вело к частым неудачам. Один из случаев, наделавших большого шума, произвела храбрость одного человека, доказавшего, что министерство со всеми своими палатами и армиями боится принять вызов одинокого противника, если он решился рисковать всем.]

Главою республиканской партии в журналистике был тогда Арман Каррель, служивший некогда офицером и перед лицом своего войска сломавший свою шпагу с требованием отставки,

когда экспедиция, посылаемая для восстановления власти Фердинанда VII Людовиком XVIII (в 1823 году), пришла на испанскую границу. Это был человек, глубоко презиравший своих противников, не находя в них нравственного мужества. Он имел громадное влияние на свою партию, и если республиканцы не наделали в первое время июльской монархии сильных восстаний, то правительство сохранением спокойствия на парижских улицах всего больше было обязано Каррелю, который слишком мало надеялся на недисциплинированные массы и останавливал своих друзей, доказывая им, что без войска и против войска они ничего не могут сделать. Не видя силы в простолюдинах, он тем тверже уверен был в своей. Во время полемики о процессе принцев Роган против баронессы Фёшер и герцога Омальского, когда Казимир Перье арестовал особенно много журналистов за статьи против Луи-Филиппа, Арман Каррель вздумал один положить конец этому насилию. Он напечатал самую резкую статью, в которой доказывал между прочим, что если за другие подобные статьи арестовали журналистов, то это делалось в противности закону \* и допускалось только робостью преследуемых. «Преступно было бы нам, — говорил он, — терпеть это, и пусть министерство знает, что один мужественный человек, опираясь на закон, может с надеждой на успех поставить свою жизнь против жизни не только семи или восьми министров, но и против всех, имеющих безрассудство повиноваться им. Когда изменнически убивают человека из-за угла в уличном волнении, это неважно, но важна была бы смерть честного человека, который был бы убит в своей комнате сбиррами господина Перье, противясь им во имя закона; его кровь потребовала бы мщения. Пусть министерство отважится играть на эту карту, и, быть может, оно не выиграет. Журналисты не могут быть подвергаемы арестованию без суда, и каждый писатель, сознающий свое гражданское достоинство, противопоставит закон беззаконию, силу силе. Это — обязанность, и пусть будет, что будет!»

В противность обычаю журналистики Арман Каррель подписал свое имя под этой статьей и положил на своем рабочем столе пистолеты. Казимир Перье не отважился послать полицию арестовать его. Одного такого эпизода было бы достаточно, чтобы лишить министерство всех плодов удачи в других преследованиях.] Но часто выказывались в этих преследованиях обстоятельства, еще сильнее подрывавшие уважение к правительству. Мы упомянем только об одной из таких историй.

\* Французские законы допускают арестование без предварительного суда, одной полицейской и административной властью, только в так называемом случае «явных улик преступления», «*flagrant délit*». Арман Каррель доказывал, что подобных случаев не может быть в деле журналистики, потому что преступность самого факта может быть признана только по решению суда.

4 января 1832 года, в пять часов вечера, послышался набат на колокольне парижской церкви Notre-Dame \*. Сторож бросился на колокольню, но был встречен сверху лестницы криками и pistolетными выстрелами. Он побежал донести полиции об этом странном происшествии, и были присланы солдаты. Колокольня была обыскана; на ней нашли шесть человек молодых простолюдинов. Один из них был еще почти ребенок, плакал, уверял в своей невинности, обещал открыть все. Пока его допрашивали, показался огонь на северной башне церкви. Пожар успели потушить. Плачущий юноша говорил, что на колокольне был еще седьмой человек. Долго не могли найти этого седьмого. И на башне вспыхнул опять огонь. Пожар погасили во второй раз и продолжали обыск. Вдруг сам вышел из какого-то темного угла человек и закричал, что сдается. Когда его спросили об его звании, он отвечал: «бунтовщик». Сам по себе случай был ничтожный, и странные люди, без всяких приготовлений думавшие произвести восстание звоном в колокол, никому непонятным, конечно, не были опасными противниками. Но следствием об них раскрылись вещи гораздо худшие самого их безрассудства. Оказалось, что полиция была за несколько дней предуведомлена об их замысле. Открылось даже, что начальник городской полиции Карлье, получивший такую знаменитость во время реакции, после 1848 года, когда сделали его префектом полиции, сам сказал сторожу, чтобы он не запирает дверей на колокольню. Полицейские, ловившие мятежников, наперед говорили, в каком месте лестницы найдут они баррикаду; когда арестовали последнего из них, полицейский сержант стал нюхать его ладони, не намочены ли они спиртом: полиция знала даже о том, что заговорщики хотят взять с собой бутылку спирта, которая действительно и нашлась. Наконец описание происшествия было послано в «Times» из Парижа 3 января, накануне самого происшествия. Все эти вещи были раскрыты следствием; а когда начался суд, то адвокат арестованных доказал, что они были возбуждены к безрассудной попытке полицейским агентом Перно, освобожденным каторжником, донесившим начальству о всем ходе устраиваемого им заговора. Казимир Перье уверял, что ему оставалась неизвестна эта темная проделка; но правительство все-таки оставалось нравственно виновно в том, что его собственная полиция устраивает заговоры для доставления ему случаев устрашать строгостями недовольных. Большая часть обвиненных были оправданы присяжными, только трое были приговорены к легкому наказанию, и то не за участие в заговоре, а лишь за то, что не донесли о проделках Перно.

Человеку, имеющему высокие понятия о назначении правительства, должно казаться удивительным, что он читает в этих

\* Собор Парижской богородицы. — *Ред.*

статьях все только рассказы о разных темных происках, имевших целью денежные выгоды Луи-Филиппа, и об усилиях к подавлению разных вспышек. Но действительно только этими вещами почти постоянно и ограничивалась деятельность нового правительства. Не производя никаких важных реформ, оно оставляло в разных слоях общества все прежние причины к недовольству положением дел. Общественное устройство оставалось в том же виде, как при Бурбонах, и те классы, которые произвели июльский переворот, по недовольству не самими Бурбонами, а порядком дел, державшимся при Бурбонах, постепенно проникались такою же враждою и против Луи-Филиппа, опять-таки, не по каким-нибудь политическим убеждениям, несовместным с властью Луи-Филиппа, а просто потому, что она поддерживала тяжелей для них прежний порядок дел. Вид этого бессилия июльской монархии сделать что-нибудь в пользу простолюдинов постепенно приводил все большее число демократов к мысли, что монархическая форма во Франции несовместна с народными потребностями; таким образом, само правительство было причиною усиления республиканской партии и успеха, какой постепенно приобретала ее пропаганда между парижскими простолюдинами. С другой стороны, приверженцы Бурбонов справедливо находили, что Орлеанская династия не имеет причины существовать, если ничем важным не отличается от прежней династии: нация, не находя разницы между Бурбонами и их младшей ветвью, Орлеанским домом, должна, думали легитимисты, отдать предпочтение прежней династии. Будучи поставлено между этими двумя движениями, назад к Бурбонам и вперед к республике, не имея самобытной опоры в чувствах массы, июльское правительство, поставившее задачей себе стоять и держать общественные учреждения в прежнем виде, тратило все свои силы исключительно на то, чтобы удержаться. Оно оправдывало свою апатию в деле общественного прогресса необходимостью сосредоточивать все свои мысли, все свои силы на свою защиту от опасностей и не хотело понять, что опасности для него возникали именно только из его апатии к прогрессу и исчезли бы при появлении в нем заботливости о реформах, полезных для общества. Мы не хотим решать, были ли в самой форме правительства, сохраненной июльским переворотом, какие-нибудь причины невозможности принять прогрессивное направление; бонапартисты и республиканцы утверждали это, доказывая, что дать Франции необходимые реформы может, по мнению одних, только военное самовластие, по мнению других — только республика. Но была или нет в самой форме правления, установленной конституцией 1814 года и сохраненной конституцией 1830 года, несовместность с потребностями французской нации, во всяком случае, даже при наилучших правительственных формах, нельзя было произойти ничему хорошему при характере Луи-Филиппа,

имевшего много прекрасных качеств ума и души, но не имевшего одного: честной способности забывать свои денежные расчеты и хитрые интриги для национальных потребностей. Его характер не внушал ни уважения, ни доверия; нравственная власть правительства над умами падала от этого, и враждебные ему партии, видя неудовлетворенность народных нужд, рассчитывали легко низвергнуть Орлеанскую династию. Еще в 1830 и 1831 годах были, как мы упоминали, небольшие вспышки республиканских движений и легитимистских демонстраций. В 1832 году те и другие приняли размер более значительный.

Мы начнем с волнения, поднятого легитимистами на западе Франции.

По удалении любимцев Карла X вслед за Бурбонами в Англию, легитимисты остались без энергических предводителей в Париже. Правда, они имели на своей стороне две великие знаменитости, Шатобриана и Беррье, но оба сообщали только блеск своей партии, а вести ее на битву не были способны<sup>27</sup>. Великий поэт и благороднейший человек по мнению французов, а по нашему мнению несносный ритор, все хорошие качества которого портились неимоверной раздутостью тщеславия, Шатобриан мог своими кудрявыми произведениями и речами восхищать людей, любящих высокопарность, но к практическому делу никогда и ни в чем не был способен, — это видели даже люди, приходившие в восторг от его гения, который действительно был у него на одно только жеманство. Он хандрил и рассуждал о падении своего века, который пал в его мнении собственно потому, что не признал в нем великого государственного человека, равного Наполеону, — стать в параллель с Наполеоном было задушевною его мечтою, как показывает каждая страница его «Замогильных записок». Хандрил он потому, что это придавало челу его очень эффектную печать «высокой и глубокой скорби». Он чуждался всех, чтобы производить на публику более эффекта своим трагическим одиночеством: ему хотелось навести людей на мысль, что он — изгнанник на умственном острове Св. Елены. Беррье, напротив, был человек действительно огромного ума и таланта. Красноречие его было увлекательно, личность его очаровательна. Но он был плебей по происхождению, и легитимизм управлял только его мыслями, а не сердцем, он сам не верил в будущность аристократической монархии Бурбонов. Его привлекло в лагерь легитимистов особенно то, что аристократические салоны очень изящны, манеры аристократов очень грациозны и любезны, нигде нельзя так хорошо провести вечер, послушаться стольких и таких милых комплиментов, найти для себя столько лести, не шокирующей тонкого вкуса. Он был артист и любитель высокого комфорта; своею завидною обстановкою он не хотел жертвовать: как ему было рисковать головою или свободою, когда адвокатство доставляло красноречивому оратору такие доходы, то

есть такой комфорт, и притом рисковать без глубокой преданности делу легитимистов? Чтобы поднялось легитимистское восстание, управление партией должно было перейти в другие руки. Шатобриан, Беррье и другие важнейшие легитимисты, остававшиеся во Франции, говорили, что надобно ждать, терпеть, пока через долгое время июльское правительство падет само собою.

Аристократическая молодежь не хотела ждать; этим изящным рыцарям грубая толпа колола глаза насмешливыми вопросами о том, что делали они в июльские дни, когда им следовало бы умереть за своего аристократического короля и когда ни один из них не стал защищать династию, погибавшую за аристократов. Они горели нетерпением доказать, что сохранили храбрость, привилегию на которую присвоивали дворянству, по примеру своих предков. Тою же ревностью к подготовке восстания были проникнуты дамы аристократического круга, праздность которых радовалась развлечению, имевшему романтический вид с своими воображаемыми опасностями, в сущности безвредными для них (кто же стал бы казнить дам за бунт?) и тем более привлекательными: затеять интригу, хлопотать, ездить, секретничать, поощрять мужество словами любви, поцелуями за верность законному королю, — все это так занимательно!

Партия легитимистов сама по себе была малочисленна; зато она владела большими денежными средствами и во многих местах, особенно на юге Франции и в Вандее, значительным влиянием на сельское население благодаря огромным поместьям, уцелевшим от продажи в революцию. При некоторой восторженности, молодежь и дамы могли рассчитывать на успех, которого не надеялись дельные люди легитимистской партии. Предводители отказывались от участия в опрометчивой попытке, надобно было заместить их кому-нибудь. За это взялась принцесса Беррийская Мария-Каролина, вдова несчастного принца, убитого десять лет тому назад, мать малолетнего короля Генриха V, женщина еще молодая, экзальтированная, любившая эксцентрические приключения<sup>28</sup>. Карл X не одобрял отваги своей невестки, но не в силах был устоять против ее пылких требований, согласился объявить, чтобы легитимисты признавали ее правительницей королевства от имени ее сына, и отпустить ее в Италию, чтобы она оттуда руководила ходом заговора и явилась начальствовать восстанием, когда оно вспыхнет. По приезде герцогини в Сардинию, начались совещания с являвшимися из Франции заговорщиками о том, где начать восстание, на юге или в Вандее. Вандея уже имела несколько шуанских шаяк, составившихся из молодых людей, скрывшихся от конскрипции, которую поселяне в тех местах не любили больше, чем где-нибудь во Франции. Однако главные из вандейских заговорщиков все-таки мало надеялись на свои силы, говоря, что могут взяться за оружие лишь тогда, когда силы правительства будут отвлечены от западных

департаментов восстанием на юге. Но прежде того легитимисты решились сделать попытку в самом Париже: они хотели овладеть Тюильрийским дворцом в ночь с 1 на 2 февраля (1832), во время большого придворного бала; они уже достали ключи от пяти ворот Тюильрийского сада, набрали несколько сот человек бывших королевских телохранителей (*garde royale*), обольстили нескольких простолюдинов, сражавшихся в июле на баррикадах и раздраженных тем, что победа не принесла никакой пользы народу. Но полиция узнала о замысле от оружейника, у которого заговорщики покупали ружья, и который стал подозревать недобрые замыслы в своих покупателях. Отважнейшие из заговорщиков, простолюдины, были арестованы в кофейной, в улице Прувер, куда собрались, чтобы взять ружья, которые должен был привезти туда оружейник. Знатные соучастники замысла не были выданы преданными суду простолюдинами, да и против арестованных почти не нашлось улик, так что наказаны были немногие. Дело, задуманное в Париже, разрушилось, и надобно было возвратиться к мысли поднять восстание на юге и в Вандее.

Герцогиня Беррийская, бывшая принцессою неаполитанского дома и находившаяся в родстве почти со всеми итальянскими государями, нашла себе радушный прием у герцога Моденского, который гордился тем, что один из всех европейских правителей не признавал королем Луи-Филиппа. Герцогиня поселилась в городке Массе на морском берегу и близ Ливорно, так что отношения с Францией были для нее очень удобны. Но прежде чем начать войну с Луи-Филиппом, она должна была преодолеть препятствия, которые представлялись ей в самой легитимистской партии, дробившейся на три отдела.

Важнейшие из легитимистов, остававшихся во Франции, не надеясь на успех восстания, думали, что надобно пока ограничиваться газетною и парламентскою полемикою и только подготавливать умы к восстановлению Бурбонов в более или менее отдаленном будущем.

Молодежь и дамы хотели восстания; из людей, пользовавшихся политическим влиянием, эту мысль разделяли только придворные, эмигрировавшие с Карлом X. Они опять делились на две партии. Одни полагали, что восстание может иметь удачу только тогда, если будет опираться на иноземное войско; они хотели, чтобы Россия, или Австрия, или Голландия, или вся континентальная Европа послала армию для вторжения во Францию, как было в 1792 году; когда иностранцы двинутся в Париж, как воины Генриха V, вся Франция присоединится к ним, думали эти люди, господствовавшие над умом Карла X; их представителем был герцог де-Блакà. Другие, главой которых была герцогиня Беррийская, находили, что иностранное вторжение могло только окончательно погубить Бурбонов, пробудив против-



них национальное чувство. Они хотели опираться исключительно на своих приверженцев внутри самой Франции. Эти люди были несколько рассудительнее партии герцога Блакá, решительно неспособной понимать чувства французской нации, хотя и сами могли казаться сколько-нибудь рассудительными только по сравнению с партией Блакá.

Соглашаясь на экспедицию герцогини Беррийской, Карл X посылал вместе с регентшей герцога Блакá, как советника ее, и дал ему тайное полномочие, по которому вся власть должна была принадлежать герцогу, а регентше один только титул. Содержание этой бумаги не было в точности известно герцогине, но она узнала его благодаря ссоре двух сановников своего штата с герцогом. Один из этих придворных, влиянию которых на герцогиню завидовал Блакá, увидел необходимость низвергнуть его, чтобы удержаться самому, и убедил герцогиню потребовать, чтобы Блакá показал ей свое полномочие. Когда бумага была прочитана главными приверженцами герцогини, они все объявили, что Карл X, по отречении своем от королевского титула и по назначении регентшею герцогини Беррийской, уже не имел права располагать властью. После долгой борьбы герцогиня написала, наконец, к Блакá письмо, в котором доказывала ему неудобство разделения власти между двумя лицами и просила его, в доказательство дружбы к ней, воротиться в Шотландию к Карлу X.

По удалению Блакá, энергическая герцогиня стала вести дело быстро. По Франции разъезжали эмиссары, были приготовлены прокламации и акт, учреждавший в Париже временное правительство, членами которого герцогиня назначала Шатобриана, Кергорле, маршала Виктора (герцога Беллунского) и генерала Латур-Мобура. Заговорщики вступили в сношения с бонапартистами и надеялись на поддержку Меттерниха. Но Меттерних был настолько осторожен, что не захотел компрометировать австрийский кабинет связью с авантюристами, а бонапартисты не могли сойтись с легитимистами, потому что, независимо от приверженности другому претенденту, имели систему убеждений, несовместимую с целями легитимиста: Бурбоны были представителями старинной аристократической монархии, бонапартисты были детьми революции и, охотно соглашаясь на военный деспотизм, не хотели жертвовать равенством всех французов перед законом. Легитимисты, враждебные равенству, хотели деспотизма не военного, а придворного. Символами противоположности принципа служили цвета национального знамени; бонапартисты требовали, чтобы оставлено было трехцветное знамя революции, Наполеона I и июльской монархии, легитимисты не согласились отказаться от восстановления белого знамени. Таким образом, герцогиня Беррийская могла рассчитывать только на свою собственную партию, да и то далеко не на всю: благоразумнейшая и большая часть легитимистов не хотела участвовать

в опрометчивой попытке. Шатобриан просил дозволения приехать в Италию, чтобы отклонить герцогиню от ее намерений. Мария-Каролина не захотела видаться с ним. Легитимистские комитеты в Париже напрягали все усилия, чтобы отклонить от мысли о восстании пылкую часть аристократической молодежи в южных провинциях и Вандее. В этих провинциях легитимисты также были несогласны и большинство считало восстание несвоевременным. Но люди пылкие готовились к нему, набирали волонтеров между поселянами, запасали ружья; в Вандее явились уже вооруженные отряды, убивавшие жандармов, грабившие почту. Волнение увеличивалось, так что герцогиня видела надобность или сообщить заговорщикам, что дело отсрочено, или спешить к ним во Францию. Она решилась на последнее и взяла с собою конституцию, приготовленную ее партизанами на случай успеха. Конституция была составлена в самом либеральном духе, по мнению легитимистов, но в сущности все-таки возвращала Францию к тому положению дел, какое было до революции. Одной из приготовленных прокламаций все законы и распоряжения, изданные с июльского переворота, объявлялись недействительными, а личное имущество Луи-Филиппа подвергалось секвестру. Страшная мстительность, выказанная Бурбонами в 1815 году, была одной из причин их непопулярности. Люди, составлявшие совет при герцогине Беррийской, требовали, чтобы она уверила Францию в полной безопасности от преследований за прошедшие события. Герцогиня должна была покориться на словах, но в споре об этом слишком ясно выказала свои настоящие намерения жестом, подражавшим падению топора гильотины. Кергорле с жаром схватил ее за руку и сказал: «Прошу вас не повторять подобных жестов».

Отъезд из Италии во Францию назначен был 24 апреля (1832). Предлогом отъезда из Массы была выбрана поездка во Флоренцию. При наступлении ночи герцогиня с двумя дамами и одним из придворных села в четырехместную карету, под которую были взяты почтовые лошади, для избежания всяких подозрений. В городских воротах карете надобно было остановиться, и почтовый кучер, по обыкновению, воспользовался этой остановкой, чтобы поправить сбрую на лошадях. Пока он возился с ними, не оглядываясь на карету, придворный служитель отпер дверцу кареты, герцогиня с одной из дам и с придворным вышла из нее, а в карету села горничная другой дамы, оставшейся на своем месте. Карета стояла близ городской стены, покрывавшей несколько шагов пространства самую густую темноту. Вышедшие из кареты спрятались в этой тени, и когда кучер, не заметивший ничего, поехал дальше, герцогиня с своим спутником и спутницею стали пробираться к морскому берегу все вдоль по стене. В одиннадцать часов вечера они пришли на пристань. Дежурные таможенные служители крепко спали; если

бы кто из них проснулся, тайна разрушилась бы, и пришедшие старались не поднять ни малейшего шороха. Им пришлось долго ждать маленького парохода «Карл-Альберт», принадлежавшего герцогине. Пароход шел из Генуи; экипажу было сказано, что он отправляется в Испанию. Время отъезда было рассчитано так, чтобы в назначенное время пароход поравнялся с окрестностями Массы; пассажиры на нем были эмигранты. Капитан очень удивился, когда они потребовали, чтобы он шел к берегу взять других пассажиров; он не хотел слушаться, боясь строгих наказаний за нарушение карантинных правил; но эмигранты заставили его повиноваться. Герцогине пришлось ждать парохода около четырех часов, и она заснула на песке, завернувшись в свой плащ. В три часа утра пароход, наконец, подошел и герцогиня счастливо перешла на него, не разбудив таможенных сторожей.

Во время переезда она была спокойна и весела. Пароход пришел к Марсели без всяких опасностей 28 апреля, в полночь. На известном месте берега дожидались несколько легитимистов. Переезд с парохода на берег в шлюпке был довольно страшен, потому что море сильно волновалось; но герцогиня и тут выказала свое бесстрашие. Местом отдыха для нее был выбран крестьянский домик среди поля; тропинка вела к нему по скалам очень крутым. Герцогиня в темную ночь смело шла этой опасною и тяжелою дорогою.

Между тем в Марсели уже распространился слух о ее прибытии. Но за обстоятельством, неожиданно разгласившим тайну, последовало другое странное обстоятельство, прикрывшее герцогиню совершенною безопасностью на довольно долгое время. Вечером 28-го числа один из усерднейших приверженцев герцогини нанял у рыбака лодку, чтобы ехать подальше от берега, взглянуть, не приближается ли пароход. Во время поездки он беспрестанно посматривал на часы и вообще обнаруживал беспокойство. Воротившись на берег, гребцы, бывшие на лодке, зашли случайным образом отдохнуть в ту самую харчевню, куда пришли и гребцы, перевозившие с парохода на берег герцогиню. Начав толковать между собою, они обнаружили, кто такая дама, перевезенная на берег, и стали пить за здоровье герцогини. Городское начальство тотчас же узнало об этом и приняло меры против волнения. Заговорщики увидели необходимость спешить своим делом. 30-го числа, на рассвете, они созвали несколько сот человек рыбаков на пристани и приглашали их подняться за Генриха V. Рыбаки выслушали, но пристать к ним не захотели. Потерпев неудачу на пристани, легитимисты пошли по городу, но и там никто к ним не присоединился. Потеряв всякую надежду, заговорщики думали уже только о том, чтобы скрыться от полиции, но трое из них все-таки были пойманы. Другие немедленно послали в домик, где скрывалась герцогиня, лакони-

ческую записку, говорившую только: «Движение не удалось, надобно удалиться из Франции». Мария-Каролина не потеряла отваги. Она хотела тотчас же ехать в Испанию, чтобы оттуда переехать в Вандею. Но море было бурно, так что шляпка не могла быть перевезена на пароход, а таможенная стража получила приказание следить за всем как можно внимательнее. Выслушав эти соображения, герцогиня решилась ехать с юго-восточного берега Франции на западный берег прямым путем. Когда она жила еще в Массе, она видела во сне покойного мужа, который сказал ей: «Одобряю твое намерение; но на юге тебе не удастся; успех ты получишь в Вандее». Она верила этому сну и отправилась в Вандею через всю Францию. Она ехала проселочными дорогами по лесам; путь был труден; однажды, чтобы доставить ей ночлег, спутники ее должны были силой вломиться в какую-то пустынную, жалкую избу; в другой раз она принуждена была искать убежище у какого-то республиканца, образ мыслей которого был ей хорошо известен. Вошедши в его дом, она сказала свое имя, и республиканец сохранил ее тайну.

Пароход, на котором она приехала, держался, между тем, в открытом море. После разных поисков на берегу, полиция вздумала обыскать этот корабль, и 3 мая вечером к «Карлу-Альберту» подошел дозорный пароход; двое офицеров вошли на палубу «Карла-Альберта». Спутники герцогини, остававшиеся на нем, сидели в это время за столом и не потеряли духа, увидев опасность. В числе их была мадмуазель Лебешю, сопровождавшая герцогиню из Массы. «Карл-Альберт» был приведен в Тулонскую гавань. Адмирал, командовавший портом, послал поручика Сарла удостовериться, кто такова дама, найденная на пароходе. Взглянув на мадмуазель Лебешю, офицер смутился: ему показалось, что он видит перед собою герцогиню, и, не успев хорошенько рассмотреть лица дамы, он поспешил с донесением, что на пароходе захвачена герцогиня Беррийская. Известие об этом было по телеграфу отправлено в Париж, а «Карл-Альберт» под строжайшим надзором отведен на Корсику, в гавань Аяччо. Захваченных арестантов, и в том числе мадмуазель Лебешю, держали в каютах под строгим арестом, так что не видел их ни один человек, который мог бы узнать ошибку. Правительство распорядилось отвезти захваченную герцогиню в Шотландию к Карлу X. Мадмуазель Лебешю хотели уже посадить на корабль, отправлявшийся в Шотландию, но королевский адъютант д'Удето, которому было поручено исполнить это, знал герцогиню Беррийскую в лицо, и только тут, 8 мая, открылась мистификация. А между тем ошибка, сообщенная в Париж и продолжавшаяся целых пять дней, разнеслась по всей Франции, и благодаря общим толкам о том, что она арестована на «Карле-Альберте», герцогиня могла проехать большую часть дороги на почтовых лошадях, не обращая на себя ничего подозрения. Посетив

нескольких вандейских легитимистов в их замках, она поселилась наконец, передевшись в мужское платье, на ферме Мелье. Русые свои волосы она закрыла черным париком и носила костюм молодого вандейского поселянина. Вечером 21 мая предводители вандейских легитимистов собрались на совещание у ней в Мелье. Их было четыре человека. Все они говорили, что восстание невозможно; что некоторая надежда на успех могла бы явиться разве тогда, если бы легитимисты уже восторжествовали на юге, а на юге они потерпели неудачу, и в Вандее легитимисты так слабы, что не могут сами начать дело. Вандейские провинциальные дворяне, объяснявшие это герцогине, конечно, не убедили ее отказаться от мысли о восстании; но парижский комитет легитимистов совершенно разделял их мнение и был поражен, узнав о прибытии герцогини в Вандею. Собравшись на совещание, члены его решились отправить в Вандею Беррье, чтобы он отклонил герцогиню от напрасного замысла и убедил ее уехать из Франции. Мария-Каролина сильно возражала ему, когда он прибыл в бедную комнату, служившую ей убежищем. Она говорила, что Европе и Франции показалось бы трусостью, если б она отказалась от своего плана, даже не пытавшись исполнить его. Однакоже Беррье успел склонить ее ехать из Франции с паспортом, который он дал ей. Но, по всей вероятности, она выразила ему свое согласие только затем, чтобы избавиться от его контроля и настояний. Едва уехал Беррье, герцогиня стала говорить, что получила письмо, от которого изменяются все ее мысли: по ее словам, письмо сообщало ей, что на юге вспыхнуло восстание. Быть может, она хитрила; а быть может, сама была обманута хитростью какого-нибудь слишком восторженного заговорщика.

Восстание не могло иметь удачи ни в каком случае. Но разноречащие распоряжения уменьшили и ту небольшую силу, какой могло бы оно достичь. Маршал Бурмон, управлявший военной частью у легитимистов и приехавший из Шотландии в Нант, отменил срок, назначенный герцогиней Беррийской для восстания; потом, увидевшись с герцогиней, отменил прежний свой приказ, отлагавший восстание на неопределенное время, и определил сроком его ночь с 3 на 4 июня. Эти перемены окончательно расстроили дело и без того плохое. Многие из людей, собравшихся восстать, не успели взяться за оружие, другие, лишенные их поддержки, были легко подавлены. Произошло в разных местах несколько незначительных схваток, и тем кончилось дело. Даже из поселян почти никто не помогал заговорщикам, а жители вандейских городов, особенно Нанта, отличавшиеся ненавистью к аристократии еще в первую революцию, ходили обезоруживать инсургентов с таким же усердием и мужеством, как регулярные войска. Инсургенты были так малочисленны и раздроблены, что из всех схваток только одна была несколько за-

мечательна. 45 человек инсургентов, запершись в замке Пенисьер, несколько часов отражали атаки многочисленного отряда с таким упорством, что противники их единственным средством принудить их к сдаче нашли — зажечь замок. Горсть инсургентов, не будучи в силах погасить огня, пробилась сквозь ряды осаждавших. Восстание, продолжавшееся всего несколько дней, само по себе так ничтожно, что не стоило бы о нем говорить, если б неудача этого безрассудного дела не поразила надолго бесилием легитимистскую партию, которая теперь, лишившись всякой надежды на самостоятельный успех, стала помогать своими денежными средствами республиканцам, чтобы хоть как-нибудь вредить Орлеанской династии. Республиканцы, люди вообще небогатые, затруднялись непрерывными штрафами, которыми подвергались их газеты. Легитимисты в следующие годы часто давали им деньги на уплату штрафов.

Теперь герцогине Беррийской надобно было думать только о том, чтобы спастись от полицейских поисков. Убежище было выбрано очень ловко. Нант был известен своей ненавистью к Бурбонам; полиции никак не могло бы притти в голову, что герцогиню нужно искать в этом враждебном ей городе. Она приехала туда переодетая крестьянкой и скрылась в доме, принадлежавшем сестрам Дюгиньи, девицам из легитимистской фамилии.

Во время вандейского восстания Казимира Перье уже не было в живых. Здоровье первого министра давно было расстроено; бурные сцены, которые часто имел он с Луи-Филиппом, резкие статьи и речи прогрессистов действовали на него очень сильно при раздражительности его характера. Давно уже при нем нельзя было говорить о чьей-нибудь смерти или болезни, не производя в нем вредного потрясения. В таком состоянии духа, геройским делом с его стороны была решимость, ставшая ближайшим поводом к его смерти. В начале весны 1832 года дошла до Парижа холера, наводившая такой страшный ужас этим первым своим путешествием по Европе. Во всей Европе народ думал, что какие-то злоумышленники отравляют его, и в Париже, как повсюду, было несколько сцен убийства совершенно невинных людей, принятых народом в его отчаянии за отравителей. Страшное уныние владычествовало в Париже. Оно усиливалось мнением, господствовавшим тогда по всей Европе, что холера заразительна. Старший сын Луи-Филиппа, герцог Орлеанский, захотел посетить холерные госпитали, чтобы своим примером разрушить, сколько от него зависело, этот гибельный предрасудок. Казимир Перье, как первый министр, считал своей обязанностью сопровождать его и пошел вместе с ним навестить холерных, несмотря на ужас, какой при расстройстве собственного здоровья чувствовал от вида больных. Страшные мучения, судороги, искаженные лица умирающих убили его. Воротившись домой, он почувствовал себя гораздо хуже прежнего, и неизгла-

димое впечатление, оставленное в его уме холерными сценами, быстро истощило его последние силы. Он умер 16 мая. Единственные слова, которыми Луи-Филипп почтил память человека, так усердно служившего ему подавлением прогрессивных партий, показывают всю холодность души его. Услышав о смерти первого министра, он сказал: «Казимир Перье умер; дурно это или хорошо? Посмотрим». Смертью первого министра довольно долго не было производимо никакой перемены в составе правительства. Министр внутренних дел Монталиве уже с месяц управлял и министерством иностранных дел, принадлежавшим Перье, которому болезнь мешала заниматься делами; это так и осталось по смерти Перье. Прежнее министерство продолжало существовать еще пять месяцев. Казимир Перье был в нем единственный человек самостоятельного характера; все остальные министры были его покорными слугами и слугами Луи-Филиппа, когда могли тайком от своего президента слушаться в чем-нибудь короля. Теперь они слушались уже одного короля, и Луи-Филиппу было приятно сохранять таких покорных исполнителей. Вандейское восстание вспыхнуло и было подавлено при этом ничтожном министерстве и при нем же кончился процесс двадцати двух человек, обвиненных за участие в этом восстании. Большая часть из них были оправданы, немногие осужденные были приговорены только к легкому аресту. Также подвергнут был суду Беррье за то, что ездил на свиданье с герцогиней перед началом восстания; но тут правительство делало слишком очевидную нелепость, пытаясь преследовать человека, который вмешивался в дело только с целью предотвратить его: процесс был для Беррье триумфом. При начале прений многие адвокаты сели не на места, для них назначенные, а рядом с Беррье на скамью обвиненных. Президент заметил им, что им не следует сидеть на ней. «Скамья обвиненных, — отвечал один из них. — получает ныне такую славу, что нам почетно сесть на нее». Когда вошел обвиненный, зрители и присяжные встали перед ним.

Герцогиня Беррийская скрывалась в Нанте в доме г-жи Дюгиньи. Целых пять месяцев не могли открыть ее убежища; кажется, Луи-Филипп и предписывал своим послушным министрам, чтобы они не старались найти герцогиню: арест ее поставил бы его в неприятное положение или раздражить монархистов преданием ее суду, или раздражить прогрессистов ее безнаказанностью. Притом, каков был бы результат процесса? Что, если бы палата перов или присяжные объявили ее невиновною? Это равнялось бы объявлению, что сам Луи-Филипп не имеет законных прав называться королем. А если найдут герцогиню виновной, приговором ее будет смерть; исполнить такой приговор невозможно, а смягчить его — значит подвергнуться обвинению в излишней снисходительности к женщине, бывшей виновницей междоусобной войны.

Но приближалось время собрания палат, а ничтожные министры не могли служить удовлетворительными представителями исполнительной власти перед палатою депутатов; потребность парламентского правления состоит в том, чтобы кабинет имел людей, уважаемых большинством, чтобы оно могло полагаться на их слова. Депутаты, принадлежавшие к большинству, возвращаясь в Париж, говорили, что не потерпят министерства, не имеющего ни одного человека с самостоятельным умом или характером. Луи-Филиппу надобно было ввести в кабинет предводителей парламентского большинства. Он уклонялся от этой конституционной обязанности, пока мог, — уже тогда он обнаруживал стремление иметь министрами не тех людей, на которых указывало общественное мнение или хотя мнение большинства депутатов, а людей, которые были бы простыми исполнителями его личных желаний. Впоследствии он успел обратить в такую машину Гизо, человека с великими талантами, поддавшегося хитрым обольщениям, воображавшего, что управляет Луи-Филиппом, между тем как Луи-Филипп водил его за нос. Но теперь пока не было у Луи-Филиппа подготовлено еще ни одного такого сильного в парламентской борьбе человека для служения личным его надобностям, и как он прежде терпел грубияна Казимира <Перье>, так теперь был принужден пригласить в свой кабинет людей, оставшихся после Казимира Перье предводителями консервативного большинства в палате депутатов, хотя эти люди не отказывались от всякой самостоятельности в угодность ему.

Предводителями парламентского консервативного большинства были тогда Тьер и Гизо, соответствовавшие своими характерами двум оттенкам этого большинства, различавшимся между собою не сущностью стремлений, а только темпераментами. Гизо был представителем людей рассудительных и серьезных, ясно понимавших, чего они хотят и какие мысли, какие фразы сообразны с их основными стремлениями. Тьер выше всего ценил эффект и любил всякие громкие слова без разбору, лишь бы они были эффектны; он служил представителем людей легкомысленных. По легкомыслию и любви к эффектам, ему часто случалось заговариваться, и когда впоследствии стал он непримиримым соперником Гизо, многие стали считать его либералом за блестящие фразы; но в сущности он любил произвол более, чем сам Гизо, и нимало не уступал ему консерватизмом, доходившим у них обоим до реакционности. Подробные доказательства этому мы представим, когда будет речь о борьбе между Тьером и Гизо в следующие годы, а теперь упоминаем только мимоходом, потому что личные особенности этих двух людей еще не получили важного влияния на судьбу Франции: оба они были тогда еще только простыми представителями парламентского консервативного большинства.



Новое министерство, главными лицами которого были Тьер и Гизо, известно под названием министерства 11 октября, потому что в этот день явилось в «Монитере» объявление о замене прежнего кабинета новым. Министром иностранных дел сделался Брольи, политический друг Гизо; внутренних дел — Тьер; народного просвещения — Гизо; финансов — Гюман; юстиции — Барт; военным министром остался Сульт, получивший имя президента совета министров, но не имевший никакого политического значения.

Дело по отыскиванию убежища герцогини Беррийской принадлежало министерству внутренних дел. По опрометчивости ли, или по каким-нибудь политическим соображениям Тьер имел больше охоты отыскать герцогиню, нежели прежний министр Монталиве. Некто Дейц, переkreщенный еврей, бравший деньги у духовенства за свое усердие к новой вере и у легитимистов за свою преданность Бурбонам, давно уже предлагал свои услуги. Монталиве оставался равнодушен к его усердию, но Тьер обещал ему 500 000 франков награды, если он отдаст герцогиню Беррийскую в руки правительства. Дейц сопровождал ее в Италию, служил для легитимистов агентом по довольно важным делам, и ему было легко проникнуть в тайну убежища герцогини. Тьер послал его в Нант, вместе с известным полицейским сыщиком Жоли, которому, разумеется, было поручено следить за продажным негодяем. Явившись в Нант, Дейц отправился к важнейшим из тамошних легитимистов, прося, чтобы они доставили ему свидание с герцогиней. До легитимистов уже доходили слухи о его предательстве, и он долго не мог победить их недоверие. Наконец 30 октября герцогиня послала за ним Дюгиньи, брата тех девиц, у которых жила. Дюгиньи сказал Дейцу, что свидание будет происходить не в том доме, где живет герцогиня, что она приедет для этого в другой дом. Дейц поверил, а между тем свидание происходило в том самом доме, где скрывалась герцогиня. Он долго говорил с нею и просил нового свидания: уверившись, что она не боится сама давать ему аудиенции, он теперь мог действовать смело. Второе свидание было назначено 6 ноября в том же доме. Он был незаметно окружен войсками. В разговоре с герцогиней предатель не выказал никакого смущения; но едва вышел из комнаты, как повсюду кругом дома заблистали штucky, и полицейские чиновники бросились в комнаты. Извещенная об опасности, герцогиня едва имела время спрятаться с одной из бывших при ней девиц и двумя кавалерами своей свиты в маленький потайной альков, бывший в углу ее комнаты и прикрытый доской, которая составляла заднюю спинку камина, так что вход в альков был только через камин. Полиция произвела самый внимательный обыск: раскрывала мебель, пробовала стены ударами молотка, чтобы открыть, нет ли где-нибудь за ними пустоты; но все ничего не находила. Так прошло

несколько часов до самой ночи. В комнате стало холодно, и полицейские несколько раз затопляли камин, чтобы согреться. Наконец от этого огня стало так жарко в душном маленьком алькове за камином, что герцогиня и прятавшиеся с нею люди не могли выносить мучений жара. Они закричали: «Мы выходим; выбросьте дрова из камина». Дрова были выброшены, и герцогиня Беррийская вышла из алькова, измученная шестнадцатью часами заключения в душном шкафе, имевшем только одно отверстие, через которое поочередно вдыхали свежий воздух она и товарищи ее. Она была перевезена в цитадель Бле, лежащую близ Бордо, в местности довольно унылой и не совсем здоровой. Климат Бле убийствен для людей с слабою грудью; а герцогиня была расположена к чахотке.

При дворе сначала очень обрадовались арестованию Марии-Каролины, избавлявшему от опасения новых тревог в Вандее; но скоро удовольствие помрачилось появлением тех затруднений, предчувствие которых долго удерживало правительство от деятельных поисков убежища принцессы. Предать ее суду не отваживались; легитимисты торжествовали, выставляя эту робость следствием неуверенности новой династии в своих правах, а прогрессисты говорили о преступной снисходительности к виновнице междоусобия. Множество просьб об освобождении герцогини поступало в палату депутатов; столько же поступало в нее просьб о предании герцогини суду. Министры не могли избежать прений по этому делу. Депутат, бывший докладчиком комиссии, которой палата поручила рассмотрение просьб, предлагал решение, сообразное с желаниями министерства: он говорил, что министрам должна быть оставлена свобода поступить, как они найдут лучшим. Но министры не могли сказать в защиту этого предложения ничего такого, что не могло бы стать оружием против них самих для легитимистов. Явиться перед палатою защитником доклада принял на себя Брольи. Он стал говорить, что старшая отрасль Бурбонов, будучи изгнана из Франции, не подлежит действию французских законов, и потому с герцогиней можно поступать только по праву войны, то есть держать ее в плену, пока того требует государственная надобность. Предать ее суду было бы слишком опасно: «Все силы, какими может располагать правительство, — говорил он, — были бы недостаточны на защиту или судей, или обвиненной, смотря по расположению умов. Вы видели процесс министров Карла X: десять дней весь Париж не выпускал оружия из рук, находился в тревоге города, который ждет штурма. Но все эти волнения были бы ничтожны перед смутами, какие вызовет процесс герцогини». Депутаты левой стороны требовали суда; они говорили, что во время прений об изгнании старшей отрасли Бурбонов правительство обязалось предоставлять власти законов тех членов изгнанной династии, которые отважились бы возбуждать междоусобную войну.

«Говорят, что опасно было бы подвергать герцогиню Беррийскую обыкновенному суду, — сказал Кабэ (получивший впоследствии известность как основатель коммунистической доктрины икаризма и недавно умерший среди неутомимых трудов для осуществления своей теории)<sup>30</sup>. — Неужели правительство так шатко, что не устоит в подобном испытании?» Легитимисты, напротив, иронически защищали мнение министров и выводили из него заключение, что сами министры признают Бурбонов стоящими выше их суда, имеющими права, отвергать которых они не смеют. Они хвалили правительство за такой верный взгляд и сожалели только, что оно не довольно последовательно: при таком образе мыслей ему надобно было бы признать Бурбонов имеющими законные права на французский престол.

Положение Луи-Филиппа и его министров было неловко. Но вдруг разнесся слух, освободивший их от затруднения: стали говорить, что герцогиня Беррийская беременна. Правительство немедленно отправило в Бле двух докторов для определения, справедлив ли слух. Легитимисты объявляли его клеветой. На одной из дуэлей, случившихся по этому поводу, был довольно тяжело ранен Арман Каррель. Неизвестность длилась несколько недель, потому что два первые отчета медиков о положении герцогини говорили только, что она вообще нездорова, но не утверждали, чтобы ее болезнь происходила от беременности. В первом отчете требовалось даже, чтобы из цитадели Бле, где воздух вреден для груди, герцогиня была переведена куда-нибудь в другое место. Правительство не напечатало этого акта и убило медиков сказать во втором отчете, что климат Бле хорош. Эти интриги, конечно, не могли скрыться от публики, которая порицала правительство за такую небрежность о больной женщине.

Еще громче стали порицания, когда публика узнала, что герцогиню подвергают нравственной пытке для вынуждения у ней сознания в беременности. Прежний комендант цитадели не согласился впустить в нее полицейских шпионов; он был смнен, и комендантом назначили генерала Бюжо (впоследствии прославившегося своими свирепостями при подавлении республиканского восстания в Трансноренской улице, а потом победами в Алжирии), человека грубого, вспыльчивого, готового на всякие услуги начальству для получения наград. Знаменитый полицейский сыщик Жоли поместился теперь прямо под той комнатой, где жила принцесса, и устроил в потолке своей комнаты, то есть в полу комнаты герцогини, две слуховые трубы, просверлив пол спальни герцогини, так чтобы это не было заметно ей и ее приближенным. Вынужденная шпионством полиции и вспыльчивостью Бюжо, герцогиня 22 февраля (1833) написала, наконец, записку, в которой говорила, что вступила в тайный брак, когда была в Италии перед вандейским восстанием. В самой записке была фраза, показывающая, какими мерами вынудили у

нее это сознание: герцогиня говорила, что она «принуждена обстоятельствами и мерами, принятыми относительно нее правительством».

Этот акт был немедленно напечатан в «Монитёре», но произвел на публику действие совершенно не такое, как ожидало правительство. Луи-Филипп шутил над положением герцогини, которая до Июльской революции была чрезвычайно милостива к нему и к его семейству; он рассказывал разные цинические анекдоты из времен старой монархии для объяснения случаев, которые могли произвести ее беременность. Публика находила шутки и скандал неуместными, видя, что бедную женщину притесняют самым неделикатным образом. Даже республиканские газеты говорили, что если не следует прощать преступлений, то еще менее прилично оскорблять женщину и издеваться над тем, что она вышла замуж.

Неделикатность, с какой вынуждали у герцогини косвенное признание в беременности, могла еще быть понятна, хотя и заслуживала порицание. Но совершенно неуместны, даже с точки зрения выгод самого Луи-Филиппа, были дальнейшие поступки его министра внутренних дел с герцогинею. Порицание еще прямее упадет на него, когда мы скажем, что во время этих и дальнейших притеснений и пошлостей министром внутренних дел был уже не Тьер, действовавший самостоятельно, а д'Аргу, покорный слуга Луи-Филиппа, занявший место Тьера, который принял министерство торговли и публичных работ. Тайное замужество герцогини навсегда ссорило ее с Карлом X, его любимцами и всеми знатными легитимистами, которые, по своим понятиям об этикете, могли скорее простить женщине всякий разврат, всякую низость, нежели неравный брак. Герцогиня лишалась всякого значения в своей партии, совершенно переставала быть опасной: к чему же было мучить ее? Хитрая расчетливость Луи-Филиппа, хотевшая как можно более унижить Бурбонов в лице герцогини Беррийской, довела его в этом деле до жестокости, противоречившей обыкновенному его добродушию, до пошлостей, вредивших его собственному имени гораздо больше, нежели имени герцогини, о которой, напротив, он заставлял всех сожалеть.

Многочисленные доктора, посланные по выбору самого правительства в Бле, продолжали говорить, что слабость тудри герцогини и общее расстройство ее здоровья требуют освободить ее. Правительство продолжало держать ее в цитадели, в нездоровой местности, когда могло бы уже совершенно безопасно освободить. Оно обманывало ее обещаниями выпустить немедленно, если она в дополнение к прежнему признанию о своем браке напишет новое признание, прямо говорящее о беременности. Она не соглашалась; ей надоедали, подвергали ее грубым сценам, мучили ее шпионством, мучили присылкой к ней разных

людей, которых она не любила или боялась. Наконец вынудили этими пошлыми средствами акт, которого требовали, — и не освободили ее, а оставили в цитадели до разрешения от бремени: к чему были все эти низости и жестокости? Потом, когда приблизилось время родов, придуманы были новые неуместные притеснения. 24 апреля Бюжо принес герцогине проект протокола, который будет составлен о ее разрешении от бремени. Тут говорилось, что для засвидетельствования подлинности события должно присутствовать при нем множество разных официальных лиц; что они будут осматривать всю мебель комнаты с целью удостовериться, не спрятан ли где-нибудь новорожденный ребенок, который был бы выдан за рожденного герцогиней: это было нужно для предотвращения подлога на случай, если герцогиня не в самом деле беременна и хочет устроить сцену фальшивых родов. Каким образом могло родиться такое дикое подозрение, совершенно непонятно, потому что беременность герцогини была очевидна и достаточно засвидетельствована медиками. В противоположность этому принимались другие меры, чтобы она не могла скрыть ребенка, спустив его через окно или как-нибудь иначе. Все эти предосторожности, совершенно напрасные, имели чрезвычайно оскорбительный характер, и спор о них мучил герцогиню в то время, когда ей всего более нужно было бы спокойствие. Ее раздражали иногда этими обидами до конвульсий, которые могли привести к выкидышу и кончиться смертью. О каждой пошлой мелочи, унижительной для людей, ее требовавших, велись настойчивые переговоры, будто о каком-нибудь государственном вопросе, и, наконец, вытребовали у принцессы согласие на следующие условия — Мария-Каролина обязывалась: 1) известить генерала Бюжо, как только почувствует первые симптомы родов; 2) когда войдут в комнату официальные свидетели, утвердительно отвечать на вопрос их, который будет состоять в том, действительно ли она герцогиня Беррийская; 3) если эти свидетели не успеют притти во время родов, то принять их, когда найдет удобным акушер. Обо всем этом доносилось по телеграфу в Париж и требовалось разрешение высшего правительства.

Акушер герцогини поселился было в комнате под ее спальною, где жил шпион до получения от нее письменного признания в беременности. Когда стали ждать приближения родов, у акушера отняли эту комнату и снова поселили в ней шпионов, которые поставили лестницу до потолка под самую кровать герцогини. Всего этого казалось еще мало. Бюжо вытребовал, чтобы двери спальни были оставлены на ночь открытыми, и в зале, которая сообщалась через эти двери со спальною, велел спать двум полицейским чиновникам. После споров согласились заменить полицейских чиновников докторами, присланными от правительства. Бюжо хотел, чтобы чиновники, назначенные быть

свидетелями, переселились из города Бле в цитадель; но главные из них были задержаны от этого переселения делами службы, и когда начались роды, свидетелей не было в цитадели. Чтобы скорее известить их, Бюжо велел сделать три пушечные выстрела, не думая о том, как испугает бедную родильницу внезапный гром под ее окнами. Надобно прибавить еще одну подробность, которая лучше всех прежних: герцогиню принуждали замедлить движение ребенка во время родов, чтобы успели притти свидетели.

Все эти пошлые, низкие притеснения и жестокости делались генералом Бюжо по сношению с советом министров и с Луи-Филиппом. Если бы не было других фактов, одна история поступков с герцогиней Беррийской во время ее беременности могла бы показать, как чужда душе Луи-Филиппа была всякая мысль о совестливости.

После родов герцогиня Беррийская объявила имя своего мужа; это был граф Луккези-Палли, сицилианский аристократ, с которым она познакомилась и повенчалась в Палермо, перед отъездом во Францию. Когда больная оправилась, ее, наконец, освободили и она уехала в Палермо повидаться с мужем, а оттуда думала проехать в Прагу, куда Карл X переселился вместе с ее детьми из Шотландии во время ее плена. Когда герцогиня объявила имя своего мужа, у легитимистов не осталось уже никакой возможности сомневаться в том, что она действительно обесчестила себя неравным браком. Если б беременность была следствием отношений вне брака, такую слабость они могли бы еще простить; но дочь, рожденная герцогиней, была рождена в законном браке, неприличном титулу принцессы: этого никак не могли простить люди, для которых этикет был выше всего на свете. Вся легитимистская партия во Франции с презрением отвернулась от герцогини; только Шатобриан сделал рыцарский поступок, как часто делал в своей жизни. Когда все аристократы отвернулись от Марии-Каролины и позорили ее, он предложил ей свои услуги и явился посредником между нею и Карлом X, разделявшим общее негодование придворных легитимистов против герцогини. Усилия его, конечно, остались напрасны. Брат принцессы, король Неаполитанский\*, не хотел видиться с сестрою; Карл X также не соглашался принять ее в Прагу и лишил опеки над детьми. Он согласился только устроить кратковременное свидание с ней в другом городе, в Леобене, чтобы нога ее не переступала порог его жилища. Бедная женщина, отвергнутая всеми, за кого рисковала жизнью, скоро умерла от чахотки. Дочь ее, рожденная во время заключения, умерла почти в одно время с матерью.

Отвергнув Марию-Каролину, Карл X и его придворные лишились помощи единственного умного и энергического существа,

---

\* Фердинанд II. — Ред.

какое было в их кругу. Легитимисты, остававшиеся во Франции, получали от Карла X и его советников, главным из которых был Блакá, такие несообразные с положением общества инструкции, что не могли ничего делать. Они надолго лишились всякой самостоятельной роли в ходе событий, и единственными противниками июльской монархии после неудачной вандейской попытки остались республиканцы.

Не желая перерывать рассказ о судьбе герцогини Беррийской, мы отступили от хронологического порядка и должны теперь возвратиться целым годом назад, чтобы видеть, какими происшествиями и мыслями занята была Франция после того, как миновалась в мае 1832 года опасность вандейского восстания.

Прогрессисты с каждым месяцем яснее видели, что Луи-Филипп окончательно отвернулся от них и хочет управлять Францией в реакционном духе. Когда распущена была палата депутатов весной 1832 года, либеральные и радикальные члены ее видели надобность в каких-нибудь чрезвычайных мерах для предупреждения новых опасностей, порождаемых реакционным управлением власти. В мае месяце, когда холера почти миновалась, Лафит созвал к себе на совещание всех оппозиционных депутатов, находившихся в Париже. Их собралось около 40 человек. Тут были представители всех партий, не хотевших реакции, от самых умеренных прогрессистов вроде Лафита до республиканцев. Лафит предложил составить адрес к королю. Один из немногих республиканских депутатов, Гарнье-Паже\* (брат его\*\* в 1848 году был членом временного правительства благодаря славе, наследованной от этого действительно замечательного человека, умершего в молодости), сказал, что на это нельзя согласиться. Луи-Филипп, говорил он, человек неисправимый; обращаться к нему с просьбами и доказательствами совершенно напрасно: это значило бы только делать себя смешным, потому что можно вперед предсказать отказ на просьбу. Оппозиция имеет перед собою только одно судилище, на приговор которого может отдавать свои стремления; это судилище — нация. Гарнье-Паже предлагал сделать воззвание к нации. Его доводы убедили других депутатов; по предложению Шарля Конта было решено изложить перед нацией мысли оппозиции в форме отчета. Он был составлен Кормненом и Одилоном Барро, обнаружен 28 мая 1832 года за подписью всех оппозиционных депутатов и произвел очень сильное впечатление.

Нижеподписавшиеся депутаты, видя опасность системы, все более и более удаляющей правительство от создавшей его революции (говорил отчет),

---

\* Этьен-Жозеф-Луи. Ред.

\*\* Луи-Антуан. Ред.

считают при нынешнем положении Франции настоятельнейшею своею обязанностью отдать своим избирателям отчет о принципах, которыми они руководствовались в совещаниях палаты. Если они не могли возвратить правительство к образу действий, нужному для его собственного спасения, то они могут по крайней мере указать на опасность. Мнения о характере июльского переворота были различны. Одни видели в нем только эпизод, только видоизменение Реставрации; они заключали из этого, что люди и принципы Реставрации должны быть людьми и принципами нового правительства. Влияние этого мнения обнаружилось во всех фазисах долгой и бесплодной сессии, теперь окончившейся. Оно было видно в прениях о королевском бюджете и т. д. Оно управляет администрацией государства и его отношениями к иностранным державам.

Другие, в том числе мы, приветствовали в Июльской революции окончательное утверждение принципов и прав, провозглашенных революциею 1789 года.

Оппозиционные депутаты говорили, что они по всем вопросам действовали сообразно принципам 1789 года. Так, например, они хотели привести королевский бюджет в скромные размеры действительной надобности; хотели, чтобы члены палаты перов избирались подобно членам палаты депутатов, а не назначались правительством; хотели преобразовать армию, уменьшив число солдат, находящихся под ружьем в мирное время, и образовав сильные резервы. Люди, хотевшие, чтобы июльская монархия служила только продолжением Реставрации, не дали исполниться ни одному из этих желаний. Оппозиционные депутаты говорят также, что они хотели изменить и государственный бюджет. Мы приведем слова отчета об этом предмете: они показывают, что если чувства оппозиции были хороши, то она ограничивалась почти только неопределенными чувствами, не доходя до точных заключений о форме их практического осуществления.

Продолжатели Реставрации находили все издержки законными, все налоги хорошими. Мы хотели, чтобы революция принесла свой дар народу. Мы были далеки от мысли не заботиться о средствах к защите родных пределов в случае надобности; но более экономное и простое управление, выбор лучшего основания для некоторых налогов и менее притеснительный способ их сбора уменьшили бы тяжесть государственных податей; распределившись справедливее, они стали бы менее обременительны для рабочих классов.

Желание, как видим, очень хорошее; но какие же налоги надобно изменить и как изменить? — этого оппозиция не говорит. Видно, что у нее не было твердых убеждений по этим вопросам. Далее оппозиционные депутаты говорят, что они хотели дать более самостоятельности выборному началу в местном управлении, винят правительство за то, что оно сохранило всех администраторов, служивших Бурбонам, и считало единственными своими врагами тех людей, которые сражались против Бурбонов. Переходя к внешней политике, оппозиция винит правительство за то, что оно не умело поддерживать достоинство Франции в сношениях с иностранными державами. Отчет заключается повторением



мысли, что правительство, уступая какому-то тайному влиянию, — фраза, под которою легко узнать влияние Луи-Филиппа, — отступает все дальше от принципов, на которых основана его власть, и тем готовит себе падение.

Отчет нравился публике своим либерализмом, но не заключал в себе ничего определительного о способе действий, какого стала бы держаться оппозиция, если бы получила власть. Та же самая неопределенность оставалась в мыслях парламентской оппозиции до самого конца царствования Луи-Филиппа.

Говоря о неопределенности образа мыслей в оппозиции, мы, конечно, относим это суждение только к большинству депутатов, ее составлявших, или к собственно так называемой династической оппозиции, к той партии прогрессистов, которые своими предводителями имели тогда Лафита и Одилона-Барро и хотели прогресса под властью Луи-Филиппа, как будто бы при человеке, подобном Луи-Филиппу, возможны были какие-нибудь важные реформы. Но за этими многочисленными депутатами стояла горсть людей, убеждения которых были ясны по крайней мере по вопросу о форме правления. Из 135 депутатов, подписавших отчет, более 100 человек принадлежали к династической оппозиции, хотевшей сохранить конституционную монархию с Орлеанской династией. Но человек 20 или 25 были республиканцы, убежденные, что для произведения коренных реформ необходимо прежде всего устранить власть Луи-Филиппа. В чем должны состоять реформы, не было ясно и для большей части из этих людей, — это обнаружили они, когда получили власть в 1848 году. Но они по крайней мере понимали, какая перемена необходима для доставления самой возможности к реформам; путь к этой перемене видели они ясно и, как люди с точным понятием о цели своих стремлений, очень расчетливо умели пользоваться всеми обстоятельствами, которые могли быть им полезны. Сами по себе в палате депутатов республиканцы были совершенно бессильны и могли играть в ней хотя какую-нибудь роль, только опираясь на династическую оппозицию; из этого возникал между нею и республиканцами некоторого рода союз, и мы сейчас видели пример того, как он приводил иногда династическую оппозицию к действиям, несообразным с ее собственными намерениями и принципами. Она хотела изложить свои убеждения и причины своего неудовольствия в адресе к королю; это было очень логично с ее точки зрения; но республиканец Гарнье-Паже убедил ее, что вместо адреса к королю гораздо приличнее и умнее будет написать воззвание к нации. С своей точки зрения он поступал логично; но что же сделала династическая оппозиция, согласившись с ним? Ясно было, что если она обращается к нации, то жалоба приносится уже не на министров, — на них следовало бы жаловаться королю, — а на самого короля. Подрывать доверие нации к нему могло быть вы-

годно для республиканцев, но никак не для династической оппозиции, сохранявшей искренно монархические чувства. Воззвание к нации было написано Кормненом под диктовку Одилона Барро; но все-таки Одилон Барро и его товарищи по убеждению допустили в этом акте намеки, которые вели уже вовсе не к тому, чего хотела династическая оппозиция: акт, ею подписанный, говорил о тайном влиянии, то есть влиянии Луи-Филиппа, уничтожающем всякую возможность добра в решениях палаты депутатов и действиях министерства. Мы говорим не то, чтобы династическая оппозиция выражала этими словами мысль ложную, а только то, что возбуждение подобной мысли в публике прямо противоречило намерениям Лафита, Одилона Барро и их политических друзей. Точно так же через 15 лет династическая оппозиция стала действовать не в своих, а в республиканских выгодах, когда начала знаменитую агитацию посредством банкетов, которые привели к февральской революции<sup>31</sup>. Люди с понятиями сбивчивыми всегда работают в пользу людей с образом мыслей ясным и систематичным. Теперь умеренные прогрессисты, вовсе не хотевшие перемены в правительственных формах, работали, сами того не замечая, в пользу республиканцев, а за два года перед тем, ведя дело к июльскому перевороту, они работали, также сами того не замечая, в пользу Казимира Перье, Гизо и их друзей, на которых теперь жаловались нации.

Еще поразительнее обнаружила неспособность династической оппозиции понимать смысл собственных действий в решимости, которую приняла она через несколько дней по обнародовании своего отчета: вопрос о демонстрации по поводу похорон генерала Ламарка еще прямее отчета доказал, что династическая оппозиция незаметно для самой себя доведена будет от слов до действий, ведущих к торжеству республиканцев. Так и случилось в феврале 1848 года, когда она согласилась участвовать в парижском банкете, результатом которого могло быть только или упрочение власти Гизо посредством картечи и осадного положения, или провозглашение республики, — вещи одинаково противные намерениям династической оппозиции. Теперь, в 1832 году, точно такую же несообразность она сделала, согласившись на демонстрацию при похоронах Ламарка. При тогдашнем волнении умов, произведенном вандейским восстанием, отчетом оппозиции, разрушением надежды на либеральную перемену в правительстве по смерти Казимира Перье, созывать десятки тысяч народа в одну процессию, разгорячать эту массу эмблемами и речами могли бы, кажется, только люди, хотевшие произвести столкновение между народом и правительством для низвержения Луи-Филиппа. Республиканцы хотели этого; но никак не могла хотеть династическая оппозиция. Чего же она хотела и зачем делала демонстрацию? По своему обыкновению, она не знала, чего хочет и что должно выйти из ее действий.

Генерал Ламарк, храбрый солдат наполеоновской армии, один из очень немногих генералов, не изменявших отечеству в 1814 году, пользовался большой популярностью благодаря честности и прямоте характера, уважению, какое приобрел у Наполеона во время его бедствий, благодаря пылкости своего патриотизма и либеральному направлению. Когда он скончался в начале июня (1832), оппозиционные депутаты, припоминая, с каким великолепием совершены были консерваторами две недели тому назад похороны Казимира Перье, вздумали сделать таким же политическим торжеством для своей партии похороны своего знаменитого друга. Днем похорон было назначено 5 июня.

Легитимисты, расстроенные недавними неудачами на юге и в Вандее, и бонапартисты, в то время очень малочисленные, могли надеяться на счастливый для тех или других оборот дела разве только как-нибудь в последующем его развитии, при каких-нибудь особенных случаях. Прямо могли выступить на борьбу с Орлеанской династией одни только республиканцы. С этой точки зрения они действовали логически, возбуждая династическую оппозицию к демонстрации, подававшей повод к столкновению, в котором единственный шанс успеха, если мог быть какой-нибудь шанс успеха, был в пользу республиканцев. Но если династическая оппозиция делала ошибку, ведя дело к обороту, не соответствовавшему ее стремлениям, то республиканцы в свою очередь ошибались, преувеличивая свою надежду на успех. Они были чрезвычайно малочисленны; правда, они пользовались популярностью в Париже между работниками; но простолюдины могли принять участие в их попытке только тогда, если бы предварительно были расположены к борьбе или долгою агитациею, или какими-нибудь особенными обстоятельствами. Этого не было. Притом, сами республиканцы не успели согласиться между собою. Большинство их видело безнадежность борьбы и не готовилось к ней. Рассчитывали на успех только немногие, не составлявшие большинства ни в одном из четырех главных республиканских клубов<sup>32</sup>. При таком положении дел неблагоприятно было со стороны республиканцев то, что они не отклонили манифестацию, которая неизбежно вела к столкновению. Они дорого заплатили за эту ошибку; но гибельное для них дело было вредно и для правительства: оно показало, как ничтожная горсть людей может привести всех слуг Луи-Филиппа к отчаянию, как легко теряют голову эти надменные консерваторы, на которых он исключительно оперся, как мало в них и преданности, и мужества.

5 июня \*, с самого рассвета, улицы около дома Ламарка были наполнены тысячами людей, захотевших принять участие в процессии. Она имела угрожающий вид; правительство пригото-

---

\* В «Современнике» (1860, № 2, стр. 730) и в Полном собрании сочинений 1906 г., т. VI, стр. 120, опечатка: «января». — Ред.

Аось к этому: в Париже было собрано 24 000 регулярного войска, кроме того, в окрестностях Парижа еще 30 000, готовых двинуться в столицу. Процессия должна была проходить через весь Париж, чтобы дойти от дома Ламарка до кладбища Лашеза. На этом длинном пути, при страшном скоплении народа, конечно, происходили некоторые небольшие драки с полицейскими, которых прогоняла толпа; одушевление увеличивалось революционными песнями. Зрители говорили, что начало Июльской революции не было так грозно, как эта процессия, состоявшая из десятков тысяч людей. Она дошла до Аустерлицкого моста. Тут была приготовлена эстрада; процессия остановилась; Лафайет, маршал Клозель, Моген сказали речи, отличавшиеся спокойною и грустною торжественностью. Но скоро эти ораторы сменились другими, менее знаменитыми и более восторженными. Толпа разгорячалась; начали носиться слухи, что в других частях Парижа уже дерутся, что какой-то генерал перешел на сторону инсургентов, что войска также перешли на сторону народа и двинулись на Тюильри. В распространении этих фальшивых известий винят переодетых полицейских агентов, возбуждавших народ к столкновению, чтобы можно было надолго запугать его страшным подавлением мятежа. Справедливо ли вообще такое обвинение, трудно решить, но оно соответствует обыкновенной системе французской полиции, и подтверждается по крайней мере одним достоверным фактом: в толпу въехал какой-то неизвестный простолюдин и республиканцам человек в черном платье, сидевший верхом на лошади и державший в руке красное знамя, увенчанное фригийскою шапкою, символом 1793 года. Этот неизвестный являлся, очевидно, затем, чтоб возбудить массу к насилию. Но против своего ожидания, он произвел дурное впечатление на народ и в особенности на республиканцев, не хотевших, чтобы их считали террористами. Неизвестный человек, потерпев неудачу, подошел к генералу Флаго, одному из приближенных Луи-Филиппа, и они вместе ушли в Тюильри. Народ оставался спокоен.

Но, кроме пространства у Аустерлицкого моста, множество других улиц было наполнено толпою. В одной из них, без всякой надобности, явился эскадрон драгун, направлявшийся к Аустерлицкому мосту по приказанию префекта полиции Жиске, а не военного коменданта генерала Пажоля: ревность полиции действовала и тут. Эскадрон теснил толпу; из нее раздалось несколько выстрелов. Тогда драгуны отступили и, объехав окольными улицами, бросились в атаку на пространство у Аустерлицкого моста по Контр-Эскарпной улице, далекой от того места, где они были встречены выстрелами. Тут народ еще не подавал никакого повода к атаке. Он был раздражен этим насилием и; видя необходимость защищаться от сабельных ударов, построил баррикаду. Окна соседних зданий были заняты наскоро вооружившимися людьми, которые на атаку против народа стали отвечать

ружейными выстрелами. Драгуны смешались и ускакали; восстание началось. Инсургентов было мало, но они быстро рассеялись по всем направлениям и в несколько часов овладели большей частью города, успели даже взять без боя несколько крепких позиций, выгнав занимавшие их караулы, которые в смущении отступали без сопротивления. В 6 часов вечера успехи инсургентов были уже так велики, что большая часть правительственных лиц отчаялись, хотя битва еще и не начиналась. Министры и генералы собрались на совещание. Военный министр, маршал Сульт, или потерял голову, или, как потом стали подозревать, хотел изменить, в надежде занять место Луи-Филиппа. Он говорил, что посылать войска в узкие улицы и глухие переулки, занятые инсургентами, значило бы подвергать солдат поражению, и выказывал полную нерешительность. Он и многие другие говорили, что надобно совершенно выступить из Парижа, оставив его во власти инсургентов, и сосредоточить войска за городом на Марсовом поле, а потом оттуда штурмовать город, как штурмуют неприятельскую крепость. Правительственное собрание разошлось, не приняв никакого решения. Придворные были в унынии. Дворец опустел; в зданиях министерств чиновники прятали важнейшие бумаги, и все приготавливалось к бегству.

Образ действий маршала Сульта был особенно двусмыслен. Он не понимал, что низость характера и жадность к деньгам отнимают у него то уважение в народе, на какое имел бы он право по своим военным заслугам. Он видел, что один из его товарищей, Бернадотт, сделался королем шведским, и давно уже думал, что подобная карьера доступна и ему, имевшему собственно военной славы больше, чем Бернадотт<sup>33</sup>. Во время испанской войны, командуя сильнейшею из французских армий, защищавших Иосифа, он вел интриги с англичанами, думая объявить себя королем португальским<sup>34</sup>, — по крайней мере так думали тогда все. Теперь, судя по странным его действиям, стали подозревать, что у него явилась мысль сесть на французский престол. Он давал совет вывести войска из Парижа, хотя ему, как отличному генералу, понятнее всех было, что выступление из города равнялось бы для Луи-Филиппа потере престола. В наступившую ночь (с 5 на 6 июня) он имел свидания с предводителями республиканцев. Но если он действительно хотел бросить Луи-Филиппа и воспользоваться восстанием для своего личного возвышения, то он действовал слишком нерешительно и не выиграл ничего.

Правительство и придворные трепетали; большая часть из них считали свое дело потерянным; но сами инсургенты имели еще меньше надежды на успех. Это были почти все только молодые люди, без всякого значения в обществе и даже в собственной партии. Простолюдины, разочарованные бесплодностью Июльской революции, не приставали к новому движению, рассуждая, что и на этот раз успех не принес бы им пользы. Быть

может, они вовлеклись бы в движение, если бы стали во главе его люди с популярными, знаменитыми именами. Инсургенты рассчитывали на содействие Лафайета и маршала Клозеля. Лафайет выразил согласие присоединиться к ним. Но сам он был так дряхл, что не мог ничего сделать без помощи своих приближенных, а они не хотели подвергать опасности его седую голову, и согласие, данное лично им помогать инсургентам, осталось секретом, не имевшим никаких результатов. Маршал Клозель отвечал инсургенту, который вел с ним переговоры: «Я присоединяюсь к вам, если вы имеете на своей стороне хотя один полк». — «Если бы теперь был у нас хотя один полк, мы не нуждались бы в вас», — сказал инсургент. При таком бессилии даже настоящие предводители республиканской партии в палате депутатов и в журналистике считали безнадежным дело восстания, начатое без них, и не захотели присоединиться к отчаянной попытке немногих энтузиастов. Они собрались на совещание в конторе National'я в 8 часов вечера (5 июня). Арман Каррель, самый сильный человек своей партии, доказывал, что восстание не может иметь успеха, и поддерживать инсургентов значило бы только увеличивать число жертв. Нужны были бесстрашие Карреля и его репутация, чтобы говорить это в собрании отважных людей, готовых отвечать подозрениями в трусости на благоразумный совет. Но он одержал верх, и республиканские предводители решили, наперекор собственной пылкости, не принимать участия в восстании. Только немногие второстепенные люди из них не захотели покориться решению и отправились в те части города, где были построены баррикады.

Вечером 5 июня инсургенты владели множеством позиций, но всеми ими овладели только потому, что не нашли сопротивления в караулах, застигнутых врасплох. Повсюду они были чрезвычайно малочисленны и должны были удалиться, когда ночью и на следующее утро явились войска. На рассвете 6 июня в их руках оставались только два пункта: площадь Бастилии, при входе в предместье св. Антония, и часть Сен-Мартенской улицы с выходившими на нее в тех местах переулками. Не было никакого сомнения, что они через несколько часов будут выбиты и из этих позиций.

Между тем оппозиционные депутаты собрались у Лафита на совещание; большинство их думало только о том, чтобы очиститься от подозрения в соучастничестве с инсургентами. Было предложено сделать манифестацию в этом смысле. Но нашлись люди более мужественные, которые успели убедить остальных, что подобный поступок был <бы> неприличен, имея вид трусости. Тогда собрание пришло к мысли послать к Луи-Филиппу депутацию, которая высказала бы ему, что система, принятая им, служит источником всех волнений в обществе. Против этого говорили, что усилия депутации останутся бесплодны, что

Луи-Филипп, подобно Карлу X, имеет свою неизменную систему, от которой не захочет отступить, что его ошибки происходят не от незнания, а из сознательного расчета. Все это было справедливо, но оппозиция считала своею обязанностью сделать предостережение, хотя и предвидела его безуспешность. Членами депутации были назначены Араго (астроном), Одилон Барро и Лафит. Отправляясь во дворец, депутаты узнали, что восстание уже почти совершенно подавлено.

Главная борьба происходила в Сен-Мартенской улице. Площадь Бастилии была скоро отбита у инсургентов, но в Сен-Мартенской улице они держались довольно долго, успев построить несколько баррикад. Тут было их всего несколько десятков человек, и они знали, что обрекли себя на смерть. Много атак было ими отбито, и 60 человек несколько часов противились несколькими батальонам регулярных войск и многочисленным отрядам национальной гвардии. Вот уже половина инсургентов была перебита, оставалось их всего человек 35. Старик с седой бородою держал над баррикадою трехцветное знамя. Пуля поразила его, но, падая, он убеждал своих товарищей не унывать. Подле него стоял молодой человек, управлявший движениями инсургентов посредством барабанных сигналов. Пуля раздробила ему кисть левой руки. «Ступай в лазарет», — твердили ему. — «Пойду, когда отобьем солдат», — отвечал он и продолжал бить сигналы одной правой рукой. Один из людей, защищавших баррикаду, сказал, что он проголодался и что надобно послать за пищею. «Стоит ли? — отвечал Жанн, командовавший баррикадой. — Теперь три часа, а в четыре нас не будет на свете». Регулярные войска не могли одолеть эту горсть людей. Надобно было привезти пушки. Баррикада была разбита ядрами; тогда несколько человек инсургентов, остававшихся живыми, пробились штыками сквозь ряды войска, несколько человек других ушли в соседний дом и продолжали там защищаться. Они оттаивали комнату за комнатой, этаж за этажом, наконец через кровлю перелезли в ближайший дом и спаслись. Всего тут было человек 25; 17 из них были убиты, 5 или 6 человек ушли через кровлю, двое, раненные, были спасены доктором. Вообще сопротивление было так продолжительно и упорно, что сами победители не могли потом понять, каким образом так долго защищались от них несколько десятков человек.

Между тем депутация, посланная оппозицией, явилась в Тюильрийский дворец. Луи-Филипп, всегда умевший владеть собою и одаренный замечательным мужеством, сохранял во все время опасности спокойствие духа и теперь принял депутацию с обыкновенною своею любезностью. Депутаты исполнили свое поручение твердо. Они сказали королю, что после победы, им одержанной, удобно ему исправить прежние ошибки для успокоения всеобщего неудовольствия, что минута победы должна быть эпохою перемен в его системе, что он теряет свою популярность,

что два восстания, произошедшие почти одновременно на западе и в Париже, показывают гибельность политики, получившей господство после отставки Лафита. Луи-Филипп, никогда не затруднявшийся ответом, возразил на это, что если Париж обогатился кровью, в этом виноват дух партий; что если, сделавшись королем французским, он лишился популярности, какую имел, будучи герцогом Орлеанским, то это неудивительно после клеветы, какой он постоянно подвергается от враждебных партий. Строгость, выказываемая правительством, продолжал он, необходима для подавления постоянных нападений на него, и в отчете оппозиционных депутатов все обвинения — несправедливый вымысел. После этого официального обмена речей начался разговор в том же духе. Луи-Филипп с гордостью говорил, что ошибаются люди, приписывающие собственно Казимиру Перье ту систему, которой следовало министерство Перье; он несколько раз возвращался к этому предмету, уверяя, что система принадлежит ему самому, Луи-Филиппу, и что Перье был только орудием его воли. В этом он был совершенно прав.

В разговоре с депутациею Луи-Филипп обещался не принимать никаких чрезвычайных мер для преследования участников и предать их законному суду. Это слово не было сдержано: Париж был объявлен находящимся в осадном положении, хотя миновалась всякая опасность. Через это суд над обвиняемыми в восстании передавался военным комиссиям. Из всех королевских советников самым горячим образом требовал осадного положения Тьер. Полиция произвела множество арестов и обысков. Было между прочим приказано арестовать Армана Карреля. Но совершенно неизвинительно было то, что правительство приказало медикам и хирургам доносить о раненых, которые поступили к ним в госпитали или будут лечиться на дому. Не нашлось ни одного человека из докторов, который был бы столь низок, чтобы исполнить это требование.

Париж роптал. Военно-судные комиссии начали процессы против заговорщиков. Но по первому же приговору, произнесенному одной из этих комиссий, была подана апелляция в кассационный суд, и он, выслушав Одилона Барро, бывшего защитником обвиненного, уничтожил приговор, признав, что предание обвиняемого военному суду составляло превышение власти и нарушало конституцию. Это был тяжелый удар для правительства, признанного виновным в такой же незаконности распоряжений, какою произведены были июльские события. Осадное положение было снято и процессы переданы законному уголовному судилищу. Из 22 человек обвиняемых только 5 были осуждены, остальные — оправданы. Из осужденных самому тяжелому наказанию подвергся Жанн, командовавший баррикадою Сен-Мартенской улицы: он был приговорен к ссылке. Остальные подверглись заключению в тюрьму на небольшое число лет. Эта



многочисленность оправданий и мягкость наказаний также свидетельствовала о глубоком недовольстве общественного мнения господствующею системою. Таким образом, из трех партий, принимавших участие в деле 5 и 6 июня, каждая, в свою очередь, подвергла себя поражению по собственной нерасчетливости. Династическая оппозиция, вовсе не хотевшая восстания, компрометировала себя согласием на демонстрацию, которая неизбежно вела к вооруженному столкновению. Республиканцы расчетливо шли к той цели, какую действительно имели, но выбрали для взрыва неудобное время и преждевременностью борьбы навлекли на себя неудачу, от которой долго не могли оправиться. Наконец консервативная партия и Луи-Филипп, восторжествовав над противниками, наделали таких неловкостей, что только усилили прежнее недовольствие и после победы увидели себя в положении, худшем прежнего.

Этот ход дела приводит нас к заключению, какое вообще выводится почти из всех катастроф. Напрасно было бы думать какой-нибудь партии, что вред, наносимый противникам, непременно должен обратиться ей в пользу. Нет, действительно существуют выше всех вопросов о победе той или другой партии интересы целого общества, и те действия, которые вредят им, приносят в результате вред не одним противникам, но всем без исключения, в том числе даже людям, основывающим свой успех на них. Есть меры, к которым никогда не должен прибегать расчетливый человек, как бы губительны ни были они для людей, ему ненавистных. Мы говорим это не с точки зрения нравственности или гуманности, а даже просто с точки зрения выгоды, эгоистического расчета. Династическая оппозиция хотела повредить правительству и действительно подвергла его беде. Но что она выиграла сама? Она только компрометировала себя. То же самое надобно сказать и о республиканцах, и о консерваторах, руководимых Луи-Филиппом. Эти три партии были смертельно враждебны друг с другом, но для каждой из них одинаково было бы лучше, если б не произошло событий 5 и 6 июня. Каковы бы ни были цели известной партии, но каждая должна была бы помнить, что нанесение вреда обществу не может быть полезно даже и для частных ее целей. Конечно, хорошо говорить это людям, спокойно смотрящим издали на историческую борьбу, и почти нет человеку возможности удержаться от опрометчивых действий, когда он охвачен вихрем исторической жизни, влекущей к столкновениям, столь же неизбежным, как и напрасным. Но если уже нельзя удержаться от вредной растраты собственных сил и общественных средств в бесплодных катастрофах, то надобно по крайней мере помнить, что есть другой, гораздо спокойнейший путь к разрешению общественных вопросов, путь ученого исследования; и надобно было бы не бесславить тех немногих людей, которые работают на этом пути за всех нас, увлекающихся при-

страстием к внешним событиям и к эффектному драматизму собственно так называемой политической истории.

Мы обыкновенно не помним и этого. Мыслители, отыскивающие средства к отстранению тех недостатков, из которых проистекают гибельные для всего общества катастрофы, подвергаются насмешкам и клеветам общества, которому хотят помочь. Довольно нелепым образом за основание для порицаний и гонений берется то, что они — нововводители. Но ведь в том именно и состоит общественная потребность, что старые отношения не соответствуют новым условиям жизни, стало быть должны замещаться новыми.

Мы видели, из чего проистекали волнения, смущавшие Францию при июльской монархии, — источником всех их и самого июльского переворота был тот же самый факт, который служил причиною всех важных событий французской истории с конца прошлого века. Либералы, совершившие июльский переворот, не могли бы ничего сделать, если бы не помогли им парижские простолюдины. Те же простолюдины давали силу людям, низвергнувшим старинное французское устройство в конце прошлого века. Они же давали силу Наполеону, пока считали его своим защитником от возвращения старого порядка дел. Когда они убедились, что Наполеон действует в свою, а не в их пользу, они покинули его, и только это охлаждение массы к Наполеону дало возможность низвергнуть его в 1814 году. Когда она увидела, что при Бурбонах не стало для нее лучше, чем было при Наполеоне, она низвергла их в надежде приобрести нечто лучшее без них. Источником всей силы, какую имело то или другое французское правительство, бывала надежда массы, что оно благоприятно для нее; недовольство ее своим положением было всегда причиною катастроф. Из чего же происходило это недовольство?

Не из политических убеждений: масса одинаково была преданна сначала республике, потом абсолютной монархии Наполеона. К политическим формам в сущности была она равнодушна. Ее требования относились к предметам, не имевшим ничего общего с тою или другою политическою формою, — самым ясным свидетельством тому служило Лионское восстание 1831 года \*, о котором рассказывали мы в прошлый раз. И если политические формы падали одна за другой по неудовлетворенности этих требований при каждой из них, то, повидимому, люди всех политических партий должны были бы радоваться попыткам мыслителей к приисканию средств для удовлетворения потребностей массы: какова бы ни была форма политического устройства, предпочитаемая известною партией, все равно эта форма могла получить прочность только от разрешения вопросов, составлявших

---

\* В «Современнике» (1860, № 2, стр. 737) и в Полном собрании сочинений 1906 г., т. VI, стр. 126, опечатка: «1832». — *Ред.*

предмет исследования для тех мыслителей, которые заботились приискать средства к удовлетворению потребностей массы. Но все политические партии — абсолютисты, конституционисты, республиканцы — одинаково восставали против этих попыток, которыми пролагался единственный путь к успокоению общества. Республиканцы сделали такую ошибку в 1848 году; теперь, при июльской монархии, делают ее консерваторы и умеренные либералы.

Первою из попыток найти способы к удовлетворению потребностей массы был во Франции в нашем веке сен-симонизм<sup>35</sup>. Его основатели были подвергнуты судебному преследованию вскоре после событий, произошедших из манифестации при похоронах Ламарка.

### III

#### VIII. Процесс Меньишмонтанского семейства.

Приверженцы новых политических и общественных идей постоянно жалуются на то, что их предшественники и предводители подвергались и подвергаются преследованиям, как враги общественного спокойствия, люди вредные для общества, [между тем как всегда бывают лично людьми самыми честными, доброжелательными, почти всегда величайшими ревнителями порядка и спокойствия, а их идеи впоследствии времени всеми признаются за справедливые и благодетельные. Очень может быть, что все это справедливо, но странен вывод, будто бы ненатурален тот постоянно повторяющийся факт, что люди, которых современники признают безукоризненными по жизни, а потомки называют благодетелями человечества за высказанные ими мысли, подвергаются разным неприятностям и гонениям за эти самые мысли. Правда, новые идеи, возникая из потребностей того времени, когда рождаются, соответствуют этим потребностям и оттого бывают полезны для людей; но именно это качество и должно служить непременно причиною продолжительного гонения на них и на людей, им преданных. Новая потребность, которой соответствует новая идея, еще не перестроила общество сообразно своему характеру, а только стремится перестроить его. Между тем общество уже имеет известное устройство; это устройство, конечно, для кого-нибудь и выгодно; те люди, кому оно выгодно, конечно, имеют господствующее положение в обществе; они обязаны этим господством характеру существующего порядка, господство для них выгодно; изменение прежнего устройства непременно повредит тому, что они считают за свою выгоду: как же не будут они преследовать свою неприятную новую идею, противоречащую их выгодам, как не будут они преследовать людей, высказывающих такие вредные для них мысли? Для массы эти новые идеи

сами по себе, конечно, выгодны; но масса привыкла жить рутиную, привыкла быть апатична, привыкла доверять господствующим над нею людям; что ж удивительного, если масса выдает беззащитными своих защитников в руки их врагов, которых считает своими покровителями и в милости которых нуждается каждый из маленьких людей, составляющих массу. Каждый должен вперед знать, каковы будут для него натуральнейшие и вероятнейшие результаты дела, за которое он берется, и не должен удивляться или жаловаться, когда подвергается им; он сам шел на них, по доброй воле, по собственному влечению. Сократ должен был знать, что его не выберут правителем Афин или хотя начальником афинских училищ за его философию; действительно, он был так рассудителен, что предугадывал, к какому концу идет, не хныкал, никого не винил, никого не бранил, когда подвергался натуральной судьбе всех подобных ему людей: напротив, он говорил, что люди, приговорившие его к смерти, поступили совершенно так, как следовало им поступить по их понятиям и выгодам.]

Преследование — натуральная участь новизны не в одних общественных идеях, а решительно во всем: и в отвлеченной науке, и в искусстве. Вспомним: огромное большинство врачей очень долго называло нелепостью открытие Гарве, что кровь не стоит, а течет в наших жилах; вспомним: огромное большинство математиков и натуралистов очень долго называло нелепостью закон тяготения, открытый Ньютоном. Смотря по тому, к какой сфере относится новизна, различна бывает и форма возбуждаемого ее преследования. Если дело относится к отвлеченной науке, человек, вводящий новую идею, заслуживает репутацию невежды и сумасброда; если дело относится к невинным, безвредным и бесполезным искусствам, человек за новизну идей провозглашается лишенным изящного вкуса, бесталанным фантазером, — таким долго считали Грёза, вздумавшего ввести простоту и человеческое чувство во французскую аффектированную и холодно-сладокрастную живопись. Если дело относится к обществу, к политике, то, конечно, и отрицательное воздаяние должно иметь административный и юридический характер. Этому так и следует быть, по крайней мере при нынешнем состоянии общества. Быть может, когда состояние массы изменится, когда она будет [не только иметь формальную власть над делами страны, ею населяемой, но и] руководиться собственными, а не чужими внушениями в своих мнениях об общественных делах, — очень может быть, что тогда будет иначе [или, лучше сказать, несомненно, что тогда будет иначе]; но это время еще очень далеко, а до той поры новые общественные идеи должны по всем возможным основаниям и расчетам подвергаться преследованию, как бы полезны в сущности ни были.

По нашему рассказу о фактах, составлявших так называемую историю в первые годы июльской монархии, можно уже доста-

точно судить о том, каковы были существенные потребности французской нации, хорошо ли удовлетворялись они и много ли заботились о их удовлетворении существовавшие тогда власти. Мы видели, что народ, пробужденный из своей обычной летаргии июльскими днями, ежедневно грозил восстанием, что уже и было довольно много попыток восстания в Париже и Лионе, единственных двух пунктах, где масса народа так велика, что может, хотя по временам, одушевляться сознанием своих сил. Мы видели, что половина всех правительственных забот тратилась на подавление восстаний, а другая употреблялась на устройство личных отношений Луи-Филлипа[, его родственников и послушных министров]; у правительства не оставалось [ни] времени [, ни охоты] позаботиться об устранении тех причин, которыми вызывались смуты, подвергавшие опасности его существование; а между тем смуты [, как и всегда бывает,] возникали из тяжелых обстоятельств [, давивших массу]. Для облегчения судьбы народа не было ничего делано правительством; она почти не занимала и либеральную часть палаты, увлеченную в споры против правительства по вопросам, быть может очень интересным для образованных и зажиточных сословий, но не имевшим никакого прямого отношения к материальным нуждам массы народа. При такой беззаботности правительства и самих депутатов о народе надобно было заняться заботой о его судьбе людям, не имевшим никакого официального характера, никакой власти, так называемым теоретикам. Первая теория об улучшении народного быта, обратившая на себя большое внимание во французском обществе, стала известна под именем сен-симонизма, хотя сам Сен-Симон положил только общие, очень неопределенные основания ей, а школа людей, гордившаяся названием его учеников, переработала и развила мысли учителя так, что придала им значение, какого они вовсе не имели у самого Сен-Симона.

Первые проявления новых общественных стремлений всегда имеют характер энтузиазма, мечтательности, так что более походят на поэзию, чем на серьезную науку. Таков был и характер сен-симонизма. Чтобы понять, каким образом могли дойти до фантастических грез в своих реформаторских идеях люди, оказавшиеся впоследствии очень практичными дельцами<sup>36</sup>, мы должны несколько ближе всмотреться в тогдашнее положение французского общества.

Теперь француз только по преданию знает о порядке дел, господствовавшем до времен большой революции. Хорош или дурен новый порядок вещей, но нация уже свыклась с ним и безвозвратно отделилась мыслью от дореволюционной старины. Тридцать или сорок лет тому назад было не то: в нации оставались еще живые воспоминания о феодальной старине, о средневековом быте, уничтоженном революцией. Революция не исполнила всех надежд, ею возбуждавшихся; не уничтожила бедности на-

рода, дав ему политические права. У многих родилась мысль, что новый порядок, оставляющий каждого на произвол судьбы, хуже прежнего, при котором простолюдин, находясь в гражданской зависимости от аристократа, пользовался его покровительством, — по крайней мере так говорилось в старину, и бедствия настоящего располагали придавать серьезное значение старинному преданию о покровительстве от высшего низшему[, которое всегда было совершенно фальшивой фразой]. Конечно, это расположение идеализировать старинные отношения всего скорее могло обольстить собою человека, происходившего из аристократии. Учение Сен-Симона, основанное на мысли, что опека высших над низшими может быть полезна для низших, показывает нам в реформаторе герцога, потомка феодалов, наследника средневековых воззрений.

Человек необыкновенного ума и редкого благородства, полный пламенного сострадания к бедствиям массы, Сен-Симон видел перед собою ту самую картину, какую и теперь видит каждый; но чужие несчастья и общественные несообразности, не возмущающие душевного спокойствия людей с обыкновенным сердцем, мучили его.

Повсюду вокруг себя он видел ожесточенную борьбу: борьбу производителей между собою за сбыт товара, борьбу работников между собою за получение работы, борьбу фабриканта с работником за размер платы, борьбу бедняка против машины, отнимающей у него прежнюю работу и прежний кусок хлеба; эта война называется конкуренцией, и нас уверяют, что она приносит больше пользы, чем вреда; очень может быть; но страдания, ею приносимые, неизмеримо велики, потому что она губит всех слабейших в каждом звании, в каждом промысле. У кого больше капитала, тот богатеет, а все другие разоряются: из самой свободы возникает монополия миллионеров, порабащающих себе все; земли обременены долгами; ремесленники, сами бывшие хозяевами, заменяются наемными рабочими; дух спекуляции влечет общество к отчаянному риску, кончающемуся коммерческими кризисами; выгода каждого противоположна выгоде других людей и каждый род занятий враждебен другому. Рынки завалены товарами, не находящими сбыта, фабрики запираются и рабочие остаются без хлеба. Все открытия науки обращаются в средства порабления, и оно усиливается самим прогрессом: пролетарий делается просто рукояткою машины и беспрестанно бывает принужден жить милостынею; в шестьдесят лет он остается без всяких средств к жизни; его дочь продает себя от голода, его сын с семи лет дышит зараженным воздухом фабрик. Таково было материальное положение общества, представлявшееся Сен-Симону.

Тот же самый хаос видел он и в нравственной жизни общества: оно не имело никаких твердых убеждений, оно только привыкло слышать, что все — вздор, кроме личной денежной выгоды.

Самый брак стал просто коммерческой сделкою, денежным расчетом: жених продает себя, невесту продают. При таком начале невозможно хорошее продолжение супружеской жизни: муж всегда неверен жене, жена почти всегда изменяет мужу, супружеское счастье — редкость, которой никто даже не верит; едва умирает человек, над его трупом начинаются ссоры и процессы из-за наследства: общественная жизнь наполнена жесточайшею враждою между родными; эта гнусность простирается до того, что беспрестанно возникают тяжбы у дочери с отцом за имущество матери, у сына с матерью за имущество отца. Вот какова семейная жизнь зажиточных сословий. Для простолюдина с каждым днем уменьшается возможность иметь семейство: молодой человек не имеет средств содержать жену, девушка находит любовника, но не находит мужа; супружество заменяется наложничеством. А если бедняк по безрассудству женится, он принужден не воспитывать детей, а делать их орудиями, помогающими прокормлению семьи: маленькие мальчики и девочки уже работают на фабриках, погибая телом от чрезмерной работы, погибая душою от преждевременного разврата; им нужно было бы подышать свежим воздухом, поиграть, а они заперты в душной мастерской, в которой перемешаны оба пола и происходят грязные сцены. Каждый день в пять часов утра теснится у дверей фабрики толпа этих несчастных детей, бледных, слабых с потусклым взором, с спиною уже сгорбленною, как у стариков. Шарль Дюпен уже докладывал палате перов, что из тысячи молодых людей, призываемых в мануфактурных департаментах на очередь по конскрипции \*, 898 человек оказываются неспособными к военной службе по болезненности или изуродованности.

Мы уже видели, чем были поглощены силы правительства: не заботами об общественном благе, а личными интригами, отчаянными усилиями поддержать свое существование, бесплодными для народа турнирами ораторского красноречия; мы видели, что депутаты были представителями одного зажиточного сословия, находившего выгоду себе при общественном устройстве, столь тяжелом для массы: они не имели и мысли преобразовать его; притом же в числе депутатов было столько чиновников, безусловно зависящих от правительства, что министры всегда и во всем имели за себя большинство, и не могло пройти через палату ничто не поддерживаемое министрами.

Все это возмущало Сен-Симона. Он стал думать о необходимости совершенно перестроить общественный быт. Он был потомок одного из знатнейших родов Франции, герцог, богат; он пожертвовал всем для исследований о средствах улучшить положение страдавших простолюдинов. Прежде всего, он считал нужным изучить природу человека во всех ее проявлениях, от самых

---

\* Набор рекрутов. — *Ред.*

изысканных до самых грубых, от самой высокой добродетели до низких пороков. Сам будучи человеком чистой нравственности, он вошел в развратнейшие круги, чтобы изучить, какими причинами и влечениями обольщаются порочные люди; серьезный ученый, он сделал свой дом центром легкомысленных забав аристократического общества, чтобы видеть, почему становится человек пустым и легкомысленным. Блестящие балы сменялись у него собраниями ученых, потому что он хотел также наблюдать, каким образом проявляется в человеке стремление к знанию. Изучив самым близким наблюдением высшие потребности человека и уклонения, возникающие от изысканной цивилизации, он захотел узнать, что такое бедность; тут наблюдение казалось ему недостаточным, нужен был собственный опыт и притом серьезный, а не шуточный: он преднамеренно, обдуманно, расчетливо разорился и конец своей жизни провел в величайшей бедности, добывая пропитание ремеслом переписчика. Такая жизнь свидетельствует об экзальтации филантропической любознательности, о фанатической преданности делу, похожей на мономанию. Эта черта отразилась и на теории, которую извлек он из своих изумительных опытов.

Сен-Симон видел в истории человечества прогрессивное движение и замечал, что по временам оно чрезвычайно усиливается, а потом человек ищет отдыха в состоянии временной почти совершенной неподвижности, чтобы, собрав силы в этом отдыхе, снова броситься в стремительное движение. Поэтому он разделял историю на два разряда периодов, сменяющихся один другим: периоды, в которых владычествует какая-нибудь система понятий и учреждений, вышедшая из предыдущей эпохи движения; эта система представляет нечто связанное, стройное, хорошее или дурное, но гармонирующее во всех своих частях; отдыхающее человечество подчиняется этой системе; такие эпохи Сен-Симон называл органическими. Собрав силы, человечество принимается переделывать прежнюю систему своих понятий и учреждений, является отрицание, разрушение, борьба защитников старины с нововводителями во всех отраслях жизни; такие эпохи переделки он называл критическими. Он видел органическую эпоху в язычестве до Сократа, потом критическую эпоху разрушения язычества, смены его христианскими понятиями и учреждениями; когда христианство окончательно восторжествовало в Европе, западное человечество снова успокоилось в органической эпохе, продолжавшейся до Лютера; с Лютера снова началась и до сих пор продолжается критическая эпоха. Задача Сен-Симона состояла в том, чтобы найти систему понятий и учреждений, на которых снова могло бы успокоиться общество.

Он замечал, что общество делится на трудящихся и праздных; ему казалось, что сообразна с стремлениями общества будет только такая система, в которой будут господствовать трудящиеся.



Для этого необходимо им организовать. Первым основанием организации трудящихся Сен-Симон находил их распределение на три разряда по трем главным способностям, которым соответствует их труд. Человек чувствует, мыслит и действует; Сен-Симон разделял трудящихся на артистов, труд которых действует на чувство, на ученых, развивающих человеческую мысль и на промышленных людей (*les industriels*), исполняющих потребности, удовлетворяемые материальною деятельностью. Теперь надобно было найти закон, по которому определялись бы взаимные отношения этих классов.

В мыслях, внушивших Сен-Симону решение этого вопроса, видны сильные следы католических идей, в которых он был воспитан: его теория приходила к полному отрицанию католичества, так же как и всех форм протестантизма, но выросла она на почве католичества. Ему казалось, что до Лютера католичество в самом деле служило очень сильной нравственной связью между всеми народами и сословиями Западной Европы, как уверяют католические писатели; ему казалось, что католичество до Лютера в самом деле было элементом прогресса в исторической жизни, имело на нее благотворное влияние. Он думал, будто бы падение этой предполагаемой нравственной связи, никогда не бывшей действительно сильною в том смысле, какой придавал ей Сен-Симон, — будто бы это падение оставило в сердце человека и в общественных учреждениях пустоту, которую надобно наполнить новым подобным учреждением. Разумеется, это мнение было фантазмагориею: человечество ровно ничего не потеряло от замены папской власти в некоторых западных странах властью духовенства, не признававшего папу, хотя (надобно признаться) мало и выиграло от той формы, какую приняла реформация в Германии и Англии, потому что лютеранство и англиканство сохранили в себе прежний католический дух. Власть над умами необразованных сословий и немыслящего большинства образованных сословий, принадлежавшая католичеству до Лютера, осталась и после Лютера у католичества в южной Европе, подобного католичеству протестантизма в северной Европе; а малочисленные мыслящие люди, не признающие этих опеков, не признавали и католической опеки в средних веках. Может быть, число таких людей постепенно увеличивается; но это возрастание самостоятельной части общества — просто следствие постепенного развития и распространения наук, и эти люди уже не могут быть возвращены под умственную опеку, как не возвращались под нее и в средние века.

Сен-Симону казалось иначе. Он думал, будто бы католичеству принадлежала власть над развитыми умами и будто бы можно восстановить над ними владычество авторитета; он думал, что этим восстановлением внесется в общество гармония понятий, что из гармонии понятий возникнет гармония стремлений и дей-

ствий, которая приведет людей к благоденствию. Каким же способом создать эту власть над умами?

Сначала Сен-Симону казалось, что она должна возникнуть из сословия ученых, и он придумал очень фантастический способ помочь ее восстановлению. В «Письмах жителя Женевы к его современникам» он предлагал открыть подписку на гробе Ньютона; участвовать в этой подписке призывались бы все: богатые и бедные, мужчины и женщины; каждый дал бы, сколько может и хочет, и, давая свое пожертвование, назначал бы нескольких людей из числа ученых и художников, авторитету которых он наиболее верит; по проекту Сен-Симона, он должен был назначить трех математиков, трех физиков, трех химиков, трех физиологов, трех литераторов, трех живописцев и трех музыкантов. Собранные подпискою деньги распределились бы между учеными и артистами, получившими известное число голосов, а те двадцать один человек из ученых и артистов, которые получили наибольшее число голосов, составили бы «Ньютонов Совет», который взял бы в свои руки умственное и нравственное управление народами, направлял бы их к одной общей цели и водворял бы повсюду гармоничные понятия.

Само собою разумеется, что эта наивная фантазия никого не очаровала. Видя неуспех, Сен-Симон стал доискиваться его причин, и ему показалось, что они заключаются не в самой сущности его мысли, совершенно непригодной к исполнению, а только в подробностях придуманного им способа. Ему показалось, что напрасно он обратился к ученым, потому что ученые — сословие безжизненное, сухое, не имеющее инициативы, неспособное развивать новые мысли, а только принимающее идеи, выработанные другими сословиями. Живой элемент в обществе составляет промышленность; она быстро развивается и ведет общество, куда хочет. Сен-Симон подумал, что исполнителями его мыслей будут промышленные люди. Он придумал проект общественного устройства, по которому правитель был бы не главою бюрократического принципа, не представителем государства в дипломатических и военных делах, а главою промышленных людей; министрами его были бы просвещенные промышленники; заботою их было бы обращать государственные доходы на развитие промышленности; система налогов была бы устроена так, чтобы давать трудящимся людям совершенный перевес над праздными в государственной жизни [: земледельцу над землевладельцем, ремесленнику над солдатом]. Но через несколько времени Сен-Симон увидел несостоятельность и этого плана: промышленные люди, подобно ученым, оказались неспособными осуществить мысли реформатора, и ему оставалось только обратиться к артистам.

С каждой переделкою Сен-Симон пополнял свою теорию, и в этой последней переделке она получила, наконец, тот вид, в котором послужила основанием так называемого сен-симонизма.

развитого, как мы заметили, не самим родоначальником школы, а уж его учениками.

Коренною идеею Сен-Симона в последнем виде его теории служит любовь. При нынешнем положении общества обязанность любить ближнего как брата должна состоять в заботе о наискорейшем возможном улучшении материальной и нравственной жизни многочисленного и беднейшего класса. В этом и состояла цель папской власти, пока папы оставались верны своему назначению: тогда они и господствовали над миром. Но в самом основном принципе папства был уже важный недостаток, портивший все дело. Католичество учило, что власть папы ограничивается только религиозною, умственному, нравственному и физическому человеку, а мирские, материальные дела подлежат ведомству светской власти. Из этого возник дуализм папы и императора, характеризующий средние века. Лишенное заботы о материальных интересах людей, католичество тратило свои силы в бесплодных отвлеченных исследованиях, не приносивших никакой материальной пользы людям. В своем бессилии над материальной жизнью, папство дошло до того, что обратило в принцип, в нравственную обязанность свое пренебрежение к этой стороне жизни, отнятой из-под его ведомства светскою властью, стало говорить, что человек должен презирать свое тело. Единственным утешением для многочисленного класса, страдающего от материальных нужд, папство выставляло фразу: «Терпение есть добродетель, физическое страдание ведет к духовному наслаждению»; оно обольщало людей фантасмагориею, потому что не в силах было оказать им действительной помощи. Этого утешения, по мнению Сен-Симона, могло быть достаточно для тех времен, когда светская власть обнаруживалась только войною и завоеваниями. Но пришло другое время, когда она стала развиваться путем промышленности: тогда католичество было потрясено до самых оснований, потому что для промышленности нужна была новая наука, а католичество не давало ее, и господство над умами перешло в руки мирян. Кеплер, Гуттенберг, Медичи<sup>37</sup>, родоначальники и покровители новой науки, новых искусств, были миряне; математика, физика, физиология, астрономия развивались трудами мирян, и светское общество получило господство над человеческими понятиями; тогда католичество должно было пасть, явился Лютер, и прежняя власть папы над умами исчезла. Папа утратил свое значение, когда светское общество повело людей по пути улучшения участи многочисленного класса. Но и Лютер в свою очередь не восстановил истинного значения духовной власти, потому что подчинил ее светской власти. Притом же он изгнал из протестантизма артистический элемент, соответствующий одной из трех главных способностей человека — чувству. Протестантизм разрушило папскую власть, но само оказалось неудовлетворительным, и общество нуждается теперь в духовной власти, которая обнимала бы

все потребности человека и вела бы людей к цели христианства, к улучшению судьбы многочисленного класса, действуя на чувство через артистов, на ум через ученых, на материальные дела через промышленных людей; эта власть должна создать систему, по которой устремляла бы она всех людей к одной общей цели посредством силы своего тонкого чувства, глубокой науки и неутомимой деятельности. Сен-Симон думал, что нашел теорию этой власти и призван создать ее.

Нам нет нужды объяснять перед читателями, что вся его теория возникает из ошибочных представлений о роли, будто бы принадлежавшей католичеству, и о возможности держать ум развитых людей под опекою авторитета[, которая всегда будет для них или смешна, если не сопровождается насилием, или ненавистна, если будет налагаться на них силою]. Сен-Симон называл свою теорию новым религиозным учением и действительно отвергал католические догматы; но догматическая разница не мешала его системе принадлежать к тому же самому разряду нравственных явлений, к какому относилось католичество. Проникнутый его духом, Сен-Симон не замечал, что притязания католичества на власть над умами всегда были неудачны, даже в средние века: люди назывались католиками, исполняли католические обряды, потому что их заставляли делать это или по машинальной привычке; но в сущности каждый руководился или житейскими, или учеными понятиями совершенно иного рода: люди и в средние века хлопотали о богатстве, о почестях или бились из-за куска хлеба; они ненавидели друг друга в случае столкновения выгод, они беспрестанно сражались между собою, хотя и носили одинаковое имя католиков; каждый из них всегда был рад послушаться папского приказания, противоречащего его выгодам, если только имел хотя какую-нибудь возможность послушаться. Сами прелаты помогали папе только потому, что находили в том свою выгоду; все умные люди между ними смеялись в душе, а часто и открыто смеялись над католичеством, сановниками которого были только по житейскому расчету. Сен-Симон хотел восстанавливать то, чего никогда не было, с наивным энтузиазмом поверив пустому самохвальству папизма. А если б и существовала когда-нибудь в средние века та власть над умами, в существование которой он верил, то в наши времена существовать ей невозможно; впрочем, напрасно мы сказали «в наши времена»: существовать ей невозможно ни в какие, ни даже в самые невежественные времена. Авторитет существует в рутине, т. е. в делах, в которых не участвует рассудок; рассудок знает факты, убеждается доказательствами, но ничего не принимает по авторитету. В человеческих действиях часто может не бывать смысла, но если они совершаются с участием смысла, они бывают результатом собственного, самостоятельного соображения обстоятельств и доказательств, а не внушением авторитетов. Думать

иначе, верить в возможность авторитета, которому свободно подчинялся бы развитый разум, мог только энтузиаст, экзальтированный фальшивыми рассказами о прежней благотворительности папизма. Кому угодно, тот может хохотать над такой наивностью; но серьезный человек не станет обращать большого внимания на ошибочные гипотезы, посредством которых Сен-Симон развивал свою основную идею, не станет много заниматься разоблачением фантастичности тех средств, какими он думал осуществить ее: все эти слабые стороны очевидны каждому, не доведенному экзальтацией до мономании. Нет, серьезный человек скорее посоветует обратить внимание на основную идею, которая лежит под всеми этими заблуждениями, выкупает все ошибки и странности теории Сен-Симона. Эта идея проста и чиста: «для успокоения общества необходимо наискорейшее возможное улучшение материальной и нравственной жизни многочисленного и беднейшего класса. Обязанность каждого хорошего гражданина, каждого честного человека состоит в том, чтобы посвятить все свои силы этому делу». [Кто помог людям понять важность этой истины, кто употребил всю свою жизнь на ее отыскание, разъяснение, провозглашение, тот принадлежит к просветителям и благодетелям людей, в какие бы ошибки ни впадал по человеческой слабости. Ведь и Сократ не мог освободиться от всех заблуждений воспитавшей его среды. Ведь он признавал натуральность и законность рабства, признавал греческую любовь. Основная мысль дает цену всякой теории или отнимает у нее достоинство, а в развитии самой дурной теории всегда бывает множество прекрасных подробностей, в подробностях самой благотворнейшей теории много вредных недостатков].

Сен-Симон умер за пять лет до июльских событий, не дожив до такого времени, когда сильное возбуждение общественных мыслей могло бы расположить общество к оценке попыток коренной общественной реформы, и когда простолюдины, начав предъявлять свои требования, заставили бы образованное общество обратить внимание на способы улучшить их судьбу. Самоотверженный труженик умер почти не замеченный обществом, имея только немногих учеников; но он умер исполненный веры в успех своего учения. «Жатва созрела, вы соберете ее», — было его последнее слово окружавшим его постель пламенным последователям<sup>38</sup>. Энтузиасты прогресса ошибаются в одном: в том, что цель их будет достигнута их путем; но они правы, не сомневаясь в том, что она будет достигнута. Так не исполнилась и надежда Сен-Симона на то, что обновление общества будет произведено его учением; но мы видим, что с каждым днем сильнее и сильнее влечется общество к исполнению задачи, служению которой он посвятил себя [— к преобразованию учреждений сообразно благу беднейшего и многочисленного класса. Что ж, этого было бы довольно и для него самого, если б он пожил:

такие люди, как он, с радостью отказываются от всякого удовлетворения личной гордости, лишь бы делалось дело, какому они отдают себя: по их плану или не по их плану, с благодарностью им или с забвением о них осуществляется их идея, для них все равно, лишь бы она осуществлялась. А если он сам не почел бы свои исследования и пожертвования совершенно напрасными, если бы он сам находил соответствующим своему коренному желанию последующий ход дела, если бы он сам сказал: «в сущности делается то, чего я хотел», то чего же еще больше для нас, берущихся судить о его трудах. Не будем придавать важности тому, что и в его собственных глазах, конечно, было только формою, только второстепенным делом, и скажем одно: он хотел возможно скорейшего и большего улучшения простонародной жизни.]

Но если уцелела только основная идея и исчезла форма его стремлений, то и самая форма исчезла не без следа, не без заметного влияния на развитие европейского общества. У него самого учение оставалось еще отвлеченною теориею, не принимало практического характера; это внесли в его теорию ученики, принявшиеся за осуществление своего восторженного стремления с таким блеском, что изумленное общество стало вслушиваться в их речи, присматриваться к их делам и, удивляясь им или смеясь над ними, превознося или порицая их, все равно не могло не запомнить коренного смысла их слов и дел, освоилось через них с идеей об улучшении общественных учреждений сообразно с потребностями простолюдинов, начало понимать, что эта задача имеет в себе настоятельность, неотступность, и стало несколько яснее прежнего понимать, из-за чего же волнуются лионские ткачи и жители Сент-Антуанского предместья[, что для них нужно, чего ждать от них, что делать с ними, кроме усмирения их штыками и картечью. Не будем скрывать от себя: по всей вероятности, еще довольно] далеко время, когда исполнится то, что нужно для благосостояния простолюдинов; понять еще не значит сделать: можно понимать и не хотеть сделать[, если понятое кажется невыгодным, а чего мы не хотим сделать, того мы не хотим и понять как должно; мы только приискиваем возражение против вещи, а не вникаем в нее, стараемся только представить ее перед другими и перед самими собой в другом виде, потому что она невыгодна для нас, и дурна ли она на самом деле, мы не хотим знать, потому что самое это знание было бы невыгодно для нас]. Таково нынешнее положение дела, первая громкая речь о котором принадлежала ученикам Сен-Симона: иудеям кажется оно соблазном, а эллинам безумством. Очень немногие люди из образованных сословий сочувствуют ему настолько, чтобы в самом деле, а не на словах только хотеть его исполнения; все остальные порицают его, не понимая, потому что не желают понять[, поняв только то, что невыгодно для них].

Много еще времени нужно ему идти до успеха. Но все-таки уже довольно много приблизилось оно к успеху, и тем самым, что сделалось предметом, всех занимающим, каждому известным, стало на очереди уже в числе важнейших забот общества. [Ничего, мы, люди просвещенные и снабженные житейскими удобствами, подождем: придет время, станет оно и первою, и единственною заботою общества, и укрепится оно до того, что забота общества о нем не будет уже в состоянии ограничиваться отрицанием его, заглушением его, а надобно будет обществу приняться и за его совершение; мы подождем, нам можно ждать, нам и теперь хорошо жить; не так удобно ждать простолюдинам: но это уже их, а не наше дело; пусть ждут или не ждут, как сами знают; а если рассудить хорошенько, то нечего было бы ждать им.]

В числе людей, близких к Сен-Симону, находились такие, имена которых знамениты в науке. Секретарем Сен-Симона был Огюстен Тьерри, учеником — Огюст Конт, основатель положительной философии, единственной философской системы у французов, верной научному духу, один из гениальнейших людей нашего времени. Но не они остались наместниками учителя в осиротевшем кругу друзей. Главою школы признан был Олинд Родригес, который скоро добровольно отрекся от этого титула, сказав, что Анфантен и Базар<sup>39</sup> достойнее его занимать вместе первое место, — тот, кто знает силу тщеславия над человеком, обыкновенное упорство самолюбия, из этого одного случая может видеть, какой высоты достигал энтузиазм у главных последователей Сен-Симона: самому сказать: «есть люди умнее меня, вот они, я уступаю им место», — это такой факт, на который гораздо реже у людей достает нравственной силы, чем на пожертвование жизнью. Теория Сен-Симона принимала средством к своему осуществлению авторитет, подчинение руководству старшин. Школа, оставшись верна этому началу, предоставила разработку своего учения признанным его главам, Анфантену и Базару, которые во всем советовались с Олиндом Родригесом, считавшимся за человека, наиболее посвященного во все мысли покойного учителя; их исследования и размышления придали учению школы такое развитие:

Принимая разделение людей на артистов, ученых и промышленных людей по преобладанию в них чувства, рассудка или деятельной силы, сен-симонисты занялись точнейшим изысканием того, что говорит история о ходе развития этих трех сторон нравственной жизни.

Они находили, что в развитии чувства человечество идет от ненависти к любви, от противоборства \* к товариществу. История показывает, что побежденные сначала были истребляемы победителями; потом победитель стал довольствоваться обращением побежденного в рабство; рабство заменилось крепостным состоянием

\* В подлиннике (французском): «антагонизма». — Ред.

(servage); крепостные люди были напоследок сделаны свободными, — вот одна черта постепенного ослабления свирепой ненависти, перехода от вражды и угнетения к хорошим чувствам. Другая черта этого развития, постепенное исчезновение самых источников вражды, постепенная замена ее товариществом, союзом, видна в образовании государств. Сначала живут дикари разрозненными семействами, родами, которые все воюют между собою. Эти семейства и роды мирятся, основывают города, из которых каждый составляется союзом многих семейств и родов; города, сначала враждебные между собою, сливаются в государство, союз, который обнимает всех их; напоследок государства сливаются в федерацию. История свидетельствует, говорили сенсимонисты, что человеческий род идет к всеобщему товариществу, основанному на любви \*.

В этом отделе теории мы уже видим переход от фантастической идеализации к понятиям, более сообразным с наукою. Но галлюцинация сохранила свою силу в понятии сенсимонистов о развитии науки и о том, какой элемент жизни был ее представителем в давней истории. Они говорили, что развитие цивилизации постепенно уменьшает преобладание физического насилия, заменяя его владычеством ума; но, подобно своему учителю, они воображали католичество представителем и руководителем умственного явления в средние века. «Каким величественным зрелищем было католичество, организованное независимо от светской власти, — говорили сенсимонисты: — духовная власть внушала повиновение себе умственным убеждением и собственными заслугами, между тем как светская налагала свое владычество завоеванием и наследственностью. [Император был представителем наследственных прав, папа — прав, основанных на личном достоинстве. Он] свободно избирался из простых монахов и до самого Льва X, который окружил себя двором, как светский государь, духовная власть затмевала светскую и господствовала над ней. Поучителен этот пример: монах, выходя из своей кельи на папский престол, заставляет самых гордых наследственных владетелей целовать свою туфлю. История папства в средние века показывает, что человечество идет к такой организации, в которой каждому будут давать по его способностям, а способность будут ценить по делам ее». Рискую утомить читателя повторением, мы снова скажем, что папство никогда не играло такой роли. Папа, как папа, никогда не господствовал над светскими государями. Обыкновенным примером преобладания духовной власти приводят борьбу Гогенштауфенов с римскими первосвященниками, особенно борьбу Генриха IV с Григорием VII<sup>40</sup>. Но тут действовали побуждения совершенно иного рода, чем послушность повелениям духовной власти: Гогенштауфены имели против

\* В этом абзаце изложение подробнее, чем у Луи Блана, — *Ред.*



себя в Германии несколько могущественных герцогских династий, которые воевали против них по обыкновенным житейским побуждениям; итальянцы вели против немецких завоевателей национальную борьбу; у папы были союзники, находившие житейскую выгоду поддерживать его; когда папа с своими союзниками делался врагом императора, другие враги, конечно, ободрялись, как ободряется всякая держава, видя, что государство, воюющее с ней, подвергается нападению новых врагов. О благочестии, о повиновении духовной власти тут так же напрасно говорить, как напрасно считать доброжелателями лютеранского исповедания тех французских государей, которые воевали с Австрией и поддерживали немецких протестантов в то самое время, когда жгли на кострах французских протестантов. Религиозные фразы в борьбе против Гогенштауфенов служили только благовидным прикрытием для династических расчетов немецким герцогам, для национальных и муниципальных стремлений итальянским городам. Когда папа не прятался под защиту этих житейских интересов, его буллы и проклятия оказывались совершенно бессильны; так было в спорах пап с французскими королями, не грозившими поражением итальянцам и умевшими поладить с своими васалами: папа проклинает короля, французы не обращают на это никакого внимания; король посылает в Рим небольшой отряд войска, солдаты преспокойно арестуют папу, и предводитель их дает папе пощечину в наказание за буйство<sup>41</sup>. Но неудачный выбор примера не мешает справедливости мысли, которую напрасно подтверждали сен-симонисты историею папства, а не анализом общего влияния, оказываемого развитием просвещения на общественные нравы: история действительно говорит, что развитие ума ведет [к предпочтению личных заслуг наследственным притязаниям,] к заменению насилия убеждением.

В промышленности закон прогресса так же очевиден, продолжали сен-симонисты. Промышленные привычки постоянно усиливаются, а воинственные привычки ослабевают. Самые войны, которые прежде велись для грабежа областей, стали потом вестись для распространения торговли с этими областями. Римские завоевания имели не тот характер, какой имеют английские. Итак, человечество идет к организации промышленности.

Из этих исторических исследований выводились три формулы, в которых, как и в самых исследованиях, основная мысль не всегда находит удачную форму для своего выражения; вот эти выводы:

Человечество идет к учреждению всеобщей ассоциации, основанной на любви. Оно идет к тому, чтобы каждый получал по своей способности, а каждая способность по своим делам. Оно идет к организации промышленности.

Человечество, действительно, идет к заменению вражды, принимающей в промышленных делах форму конкуренции, товари-

ществом, союзом. Но совершенно напрасно ожидать, что основанием этого союза может служить любовь: любовь бывает только результатом, возникающим из согласия интересов, а основанием хороших отношений служит расчет, выгода. Любовь только в редкие минуты и только в немногих, особенно способных к экзальтации, людях берет верх над расчетом; да и то может побеждать его только в одном, в двух отдельных фактах, а общий характер действий все-таки остается под властью расчета или рутины, обычая, то есть того же расчета, только сделанного не лично нами, а целым обществом, и сделанного не в эту минуту, а давным-давно и усвоившегося нам по воспитанию. Из-за любви иные люди могут утопиться, застрелиться, — решимость очень сильная, но обнимающая собою очень недолгое время. Но чтобы любовь изменяла характер человека и его действия на целую жизнь, этого никогда не бывало: те случаи, в которых молодой человек, полюбив достойную женщину, отставал от дурного общества или от прежних пороков, показывают только, что встреча в молодых годах с благородным человеком оказывает хорошее влияние на человека, который имеет доброе сердце и предавался порокам не по внутреннему влечению к ним, а только от неумения управлять собою и по недостатку хороших людей между своими прежними знакомыми. Точно такое влияние имеет в подобных случаях и простое сближение молодого человека с хорошим приятелем или руководителем, не имеющее никакого оттенка сентиментальности или экзальтации. Но сен-симонисты, будучи энтузиастами подобно своему учителю, ошибочно думали, что энтузиазм может иметь над всеми людьми постоянно такую же власть, какую имел тогда над ними: они не предчувствовали, что даже и в них, сошедшихся в ученики Сен-Симона по особенной склонности к энтузиазму, эта горячка экзальтации скоро пройдет и они обратятся в обыкновенных людей, действующих по обыкновенным житейским побуждениям, станут, из сен-симонистов купцами и банкирами, как Перейра, водевилистами, как Дюверье, фабрикантами и администраторами промышленных предприятий, как Казо и сам Анфантен, профессорами и учеными, как Мишель Шевалье, Жан Рено, Пьер Леру<sup>42</sup>.

В своем энтузиазме они не замечали, что вторая формула выражена у них самым односторонним образом, так что вместо водворения всеобщего благосостояния она своим осуществлением только упрочивала бы нынешние страдания огромного большинства людей. Право человека пользоваться житейскими удобствами они основывали только на его способностях, забывая, что человек имеет уже известные права просто как человек, независимо от того, умен он или глуп, на обширности результатов его деятельности, забывая о том, что у человека с крепкими и с слабыми мускулами желудок одинаково требует пищи. «Каждому по его способности»: если так, Ньютон должен получить сотни миллио-

нов, — на что ему они? ему довольно простого благосостояния; для него и для других людей было бы невыгодно, если бы его обратить в Ротшильда, да он и не сумел бы справиться с ротшильдовскими делами; но учитель арифметики в приходской школе, человек бедных дарований, едва сам выучившийся тройному правилу, должен быть нищим, потому что он человек очень ограниченного ума. А что же будет с большинством людей всякого сословия, в которых не обнаруживается способности ни к чему, кроме механического исполнения рутины, у которых совершенно нет никаких умственных прав? Но мало того, что каждому дается по его способности, — сама способность измеряется делами: что же тогда будет с людьми, пораженными параличом или другими хроническими болезнями, или увечными? — они не имеют никакого права на самое сохранение жизни.

Если общество располагает такими средствами, что за достаточным удовлетворением всех законных потребностей каждого человека остается у него излишек, пусть оно распределяет этот излишек на каком ему угодно основании: раздает ли его по способностям или по результатам деятельности, или, может быть, по другим расчетам, более выгодным для общественного благосостояния; но прежде всего каждый человек имеет право на удовлетворение своих человеческих потребностей; общество только потому и существует, что предполагается надобность его для обеспечения каждому из его членов полнейшего удовлетворения человеческих нужд.

Две первые формулы сен-симонизма оказываются неудовлетворительными. Да и третья формула удовлетворительна только в своем общем выражении, какое мы видели, а не в том более определенном смысле, в каком сен-симонисты думали осуществить ее. «Организация промышленности». Это так, это возможно и нужно, это неизбежно. Но каким способом промышленность получит и будет сохранять свою организацию? Сен-симонисты извлекали этот способ из своей фальшивой идеализации католицизма. Они хотели действовать авторитетом, как господствовал будто бы католицизм, и господствовал будто бы с пользою для людей. Они придумывали правила и хотели, чтобы люди исполняли эти правила не по расчетливому убеждению в их основательности, а по уважению и по преданности к людям, провозглашающим эти правила, повелевающим хранить их. Мало того: люди, облеченные авторитетом, сами должны были стоять выше всяких правил, их воля должна была служить верховным и безусловным правилом для других, как воля папы будто бы служила верховным законом для католиков в средние века. Мы не станем делать уже никаких замечаний о дикости этой фантазии: нелепость тут очевидна.

Но каковы бы ни были недостатки способов, которыми сен-симонисты предполагали вести человечество к благоденствию,

высокость основного стремления их школы выкупала все, и потому к ученикам Сен-Симона присоединялось довольно много даровитейших людей из молодого поколения. Замечательно то, что почти все они были люди самого серьезного образования, главным образом воспитанники Политехнической школы, математики, инженеры, натуралисты. Конечно, это надобно объяснить тем, что, несмотря на второстепенные нелепости развития, коренная мысль, забота об улучшении быта простолюдинов, имела справедливость и настоятельность, так что чем развитее был ум человека, тем более готов он был предпочесть сен-симонизм всем другим тогдашним учениям, упускавшим из виду самую основную черту общественного положения. До Июльской революции пропаганда шла тихо, но пробужденная после июльских событий энергия общественной мысли дала сильный успех ученикам Сен-Симона. Школа считала уже несколько десятков членов и могла приступить к изданию газеты. Нужна была значительная сумма, чтобы основать газету: Фурнель и его жена пожертвовали на это свое состояние. Газета эта, «Le globe»<sup>43</sup>, была предприятием совершенно бескорыстным и нумера ее раздавались даром. Но еще сильнее газеты возбуждали внимание Парижа публичные заседания или лекции школы в улице Тебу. Огромная зала была устроена в виде театра с тремя рядами лож; на том месте, где в театре бывает оркестр, стояли в три ряда лавки для последователей школы; партер и ложи предназначались для любопытных. Каждое воскресенье являлись в заседание ученики Сен-Симона, молодые и серьезные; в числе их было несколько дам. Они надевали при этих случаях свой официальный костюм: у мужчин он был голубого цвета, у дам — белого с фиолетовыми шарфами. Когда члены заняли свои места, главы школы, Анфантен и Базар, вводили в залу оратора, который должен был читать лекцию на этот раз<sup>44</sup>. При появлении «верховных отцов» (*Pères suprêmes*), как назывались Анфантен и Базар, ученики вставали; между многочисленными зрителями водворялось глубокое молчание, и оратор начинал изложение теории. Многие из зрителей слушали его сначала с насмешливым выражением лица, но пламенная речь, полная любви к людям, постепенно увлекала все собрание, и сами скептики выходили из залы глубоко тронутые, серьезно размышляя об удивительном явлении.

Сама школа вся была предана своему делу; устроился в ней общий стол, как первая попытка братской жизни. Младшие члены называли старших отцами, мужчины называли женщин матерями, сестрами или дочерьми. Школа посылала своих ораторов и в провинциальные города для распространения теории. Сначала провинциалы принимали их, как и парижане, с насмешкой, но результатом лекций и в провинциях бывало сильное впечатление.

Приобретая внешний успех, теория продолжала развиваться внутри самой школы; но с развитием дошла, наконец, до таких

вопросов, по которым обнаружилось разногласие между главными членами школы. Целью теории было доставить трудящимся преобладание над праздными; формулой своей она избрала соразмерность между способностями человека и материальными средствами, какие предоставляются ему в распоряжение обществом. При таких воззрениях сен-симонисты необходимо должны были дойти до понятия о том, что нынешнее распределение собственности неудовлетворительно и что должны измениться правила, по которым она переходит от одних людей к другим. Они думали, что государство, обратившись в сен-симонистскую ассоциацию, должно постепенно выкупить у частных лиц недвижимую собственность, поземельную и всякую другую; они предполагали, что это дело должно совершаться медленно, почти незаметно и без всякого нарушения чьих бы то ни было денежных интересов. Таким образом, имущество частных лиц, по их теории, должно было состоять только в доходах с капитала, а самый капитал должен был вечно оставаться собственностью общества. Имея в своих руках всю национальную недвижимую собственность, государство должно было иметь очень большую массу доходов за наделом своих трудящихся членов по размеру их труда. На этот остаток оно производило бы те улучшения и содержало бы те нужные для общего блага учреждения, которые по своей огромности не могут быть устроиваемы и поддерживаемы частными средствами. Одною из его забот было бы обеспечение хорошего воспитания всем без исключения детям своих граждан. А если каждый видит судьбу своих детей обеспеченной, то исчезает рассудительная надобность оставлять им наследство, которое тогда послужило бы только во вред им, давая им средство жить в праздности, то есть подвергаться нравственной порче, быть в тягость самим себе и обществу, — участь всех праздных людей. В таком решении этих вопросов все были согласны; но с наследством тесно связано самое существование семьи в нынешнем ее виде, и вот возник в школе вопрос о браке. Главная связь между родителями и детьми — наследство; если родители не передают детям наследства, если воспитание и судьба детей обеспечены и помимо родительской заботы, тогда, конечно, ослабляется важнейшее из соображений, на которых основывают теперь надобность в прочности брачного союза. До какой степени должны остаться неприкосновенными супружеские отношения — в этом никак не могли сойтись два главные лица сен-симонизма, Базар и Анфантен. Восторженность доходила у всех сен-симонистов до галлюцинации, но все-таки была между ними разница по степени восторженности, и некоторые могли назваться людьми рассудительными по сравнению с другими, хотя и сами были очень горячие энтузиасты. Из двух «верховных отцов» Базар был рассудительнее Анфантена; он был очень счастлив в своей супружеской жизни, имел взрослых дочерей, которых нежно любил;

он никак не мог переварить мысли, что такие семейные отношения, которыми были счастливы и он, и его жена, и дети, несовместны с теорией. Во Франции католики не признают полного развода; Базар не понимал серьезности брака при существовании развода. Но Анфантен не ограничивался защитой развода: он находил, что влияние правителей сен-симонистского общества должно простирается и на супружеские отношения. Эта мысль Анфантена служит обыкновенной характеристикой сен-симонистского учения; многие только то и слышали о нем, будто бы оно хотело, чтобы правители могли иметь связи со всеми женщинами, с какими им вздумается. Но [читатель, конечно, сам поймет, что такое мнение — вздорная выдумка,] Анфантен хотел вовсе не того: его мысль была только идеализацией тех будто бы благотворных и чистых отношений, рассказам о которых он по своей фантастичности верил и которые будто бы существовали между дамами и рыцарями в средние века и будто бы существуют между набожными католичками и их нравственными советниками иезуитского ордена. Известно, что иезуиты с своими собратьями необыкновенно любят вмешиваться в семейные дела; Анфантен хотел, чтобы то же делали сен-симонистские правители, только делали с чистым бескорыстием, между тем как иезуиты хлопочут для выманивания денег. Сен-симонисты думали, что надобно дать женщине все те права, какими пользуется мужчина, открыть ей доступ ко всем общественным должностям наравне с мужчинами. Анфантен выводил из этого, что, кроме правителей, должны быть и правительницы; отношение этих правительниц к семейной жизни подчиненных им людей он представлял себе вроде того влияния, каким, по преданию, пользовались дамы над своими рыцарями в средние века. Он верил действительности того, чем восхищаемся мы в романсе Пушкина о бледном, застенчивом и скромном рыцаре, который, раз увидев какое-то таинственное существо, земную женщину или нечто высшее, трудно и решить, написал ее девиз на своем щите и рубился в ее славу с сарацинами, одушевляя себя произнесением ее имени в минуты опасностей, и ни разу больше не видел ее во всю свою жизнь, и во всю свою жизнь не взглянул уже ни на одну женщину:

Он имел одно виденье,  
Непостижное уму,  
И глубоко сновиденье  
В душу врезалось ему.  
С той поры, сгорев душою,  
Он на женщин не глядел;  
Молвить слова ни с одною  
Он до гроба не хотел.  
Полон чистою любовью,  
Верен пламенной мечте,  
А. М. Д. своею кровью  
Написал он на щите<sup>45</sup>,

и т. д.

У Базара еще оставалось настолько рассудительности, что он понимал невозможность подобных отношений, которые переходят в материальную связь, как скоро перестают быть пустыми, праздными словами. Анфантен верил, что все будет так, как представляется его разгоряченному воображению, обманутому сказочными преданиями. Споры были бесконечны, исполнены увлечений и потрясений, которые сами по себе уже свидетельствовали об экзальтации, близкой к бреду. Из нескольких десятков полных приверженцев сен-симонизма, составлявших так называемое «семейство» (famille), несколько человек главных образовали так называемую коллегию, верховный совет, где предварительно разбирались вопросы, решение которых объявлялось потом всему «семейству». Когда поднялись между Базаром и Анфантенom разногласия о неразрывности брака, о том, в каких отношениях к обществу и к правителям будут правительницы, и нужны ли они, о вмешательстве правителей и правительниц в супружеские отношения, бурные заседания коллегии стали продолжаться по целым дням и ночам, так что члены коллегии часто падали в обморок среди пылких споров. Однажды Олинд Родригес упал бездыханен, как будто пораженный апоплексией, когда Рено отвечал ему «не думаю» на вопрос, думает ли Рено, что он говорит по вдохновению. Он оправился, но его жизнь была в опасности, так что Рено по совету доктора должен был успокоить его словами, что верит ему. В другой раз Базар, чувствуя, что Анфантен уничтожает все его возражения своей диалектикой, упал замертво после спора, продолжавшегося целую ночь. Нравственное потрясение было так сильно, что здоровье Базара уже не восстановилось: через несколько времени он умер, как хилый старик.

Большинство членов сен-симонистского «семейства» долго не знало ничего положительного об этом приближавшемся разрыве; наконец он стал необходим, и 19 ноября 1831 года было созвано общее собрание «семейства». Анфантен, изложив причины разногласия между ним и Базаром, объявил, однакоже, что не считает своего мнения окончательным законом сен-симонистской теории, потому что, по самому предмету спорных вопросов, нельзя решить их одному мужчине без участия женщины; а сен-симонизм, имея в нем верховного отца (он уже получил первенство над Базаром), еще не имеет верховной матери; когда явится она, она откроет искомый закон; до той поры теория нравственных отношений, развиваемая Анфантенom, еще не имеет такой достоверности, чтобы можно было отступать от обыкновенных нравственных обычаев, опираясь на нее. «До той поры всякий поступок в лоне учения, который заслуживал бы порицания по нравам и понятиям окружающего нас мира, был бы поступком безнравственным, потому что нанес бы вред всему учению, — так заключил Анфантен свою речь: — и лично я считал бы такой поступок величайшим свидетельством нелюбви ко мне, какое только может быть со сто-

роны моих детей». Но рассудительнейшая часть школы находила это ружательство совершенно недостаточным: «по моему мнению, позволительно и даже нужно делать вот что, но я прошу вас из уважения ко мне не делать этого» — ожидать, что кто-нибудь будет остановлен такою просьбою, значит совершенно забывать законы действительной жизни. Большинство главных членов сенсимонистского общества ужасались последствий эманиципации, которой хотел Анфантен. Пьер Леру горячо прервал его и, протестуя от имени всей коллегии против его мнения, сказал, что удалется из его общества. Абель Трансон горько упрекал Анфантена за то, что он раскрывает, как часто нарушается супружеская верность в нынешнем обществе, как мало верных, — не только мужей (верных мужей из миллиона наберется разве только десять — это знает каждый мужчина), но и верных жен, как мало замужних женщин, положение которых не было бы очень тяжело. «Отец Анфантен думает (вскричал Жан Рено), что женщина явится узаконить правила, им возведенные, и потому он стоит, смело поднимая голову; но я верю, что женщина сотрет главу его. Я боюсь влияния отца Анфантена на людей, приведенных нами к нашему учению; потому я не уйду от него, буду подле него, чтобы показывать им, каков он». — «Ваше учение возводит прелюбодеяние в закон», — сказал Анфантену Карно. — «Вы восхваляете разврат», — сказал Дюжье. Анфантен, в своем фанатизме никогда не терявший спокойной и ласковой самоуверенности, кротко выслушивал все резкие укоризны и только говорил, что радуется самостоятельности и откровенности, с какою высказывается противное ему мнение. Почти все члены коллегии были против него; но находилось довольно много и пламенных защитников, если не его мнения, то его лица. Одним из них был Мишель Шевалье, ныне сенатор французской империи: удивительно, что может выйти со временем из восторженного юноши. «Объявляю вам, — сказал Талабо, указывая на Анфантена, — что этот человек — руководитель человечества». — «С печалью вижу я, — воскликнул Барро, обращаясь к Абелью Трансону, — что ты, Трансон, знаменосец нашего учения, ты, рядом с которым шел я, отделяешься от нас. Нет, Трансон, ты не можешь покинуть нас, потому что ты любишь простолудиннов, бедных и страдающих». Анфантен, ни на минуту не терявший гордой ясности духа, наконец, распустил бурное собрание, торжественным голосом сказав: «Происходящее теперь имеет великую пользу для всех, но я желаю скорее кончить это. Мы снова соберемся в понедельник. Очевиден тот факт, что есть из нас люди, которые должны на время удалиться и успокоиться».

Школа собралась на новое заседание; тут уже не было некоторых из числа значительнейших членов. Анфантен с несколькими верными последователями спешил перейти от прежних теоретических рассуждений к практическому осуществлению системы.



Как только он остался полным распорядителем по удалении Базара, он повел дело вперед с чрезвычайною быстротою. Подле его президентского кресла в этом заседании уже стояло другое кресло, пустое: оно показывало, что для полной организации общества должна явиться подле верховного отца верховная мать. Встал Олинд Родригес, управлявший хозяйственной стороной школы. С восторженностью, обычною в ней, он возвестил, что начинает великое дело, перед которым померкнут все прежние дела промышленности, торговли и кредита. «Ротшильд и Лафит не предпринимали ничего столь великого, — сказал он: — их время кончается, начинается мое». И он изложил план хозяйственной организации сен-симонистского общества; главными чертами ее он постановлял: 1) совершать, исключительно мирными средствами, улучшение нравственного, умственного и материального быта многочисленного и беднейшего класса; 2) устроить воспитательные дома для детей сен-симонистов; эти дети должны воспитываться все одинаково, без различий по богатству и знатности; 3) основать промышленные ассоциации для работников, принявших учение сен-симонизма; 4) давать на первое время денежные пособия этим ассоциациям; 5) распространять учение, чтобы заменить нынешнюю промышленную анархию рабочническую ассоциациею. Анфантен уже встал, считая собрание конченным, когда Рено сделал знак, что хочет говорить; он был в величайшем волнении и вскричал: «Ваши деньги, отец Анфантен, не могут иметь нравственного влияния, потому что вы разрушаете прежнюю нравственность, не имея новой». — «Разве не имели вы новой нравственности, когда провозглашали вместе со мной лионскому народу наступление новой эпохи?» — вскричал, обращаясь к нему, Лоран. — «Отец мой был пролетарий, — воскликнул Анри Бо. — Трудом своим он собрал богатства. Когда слово Сен-Симона было услышано мной, я почувствовал, что должен отказаться от моей привилегии, и я стал пролетарием; тогда семья моя отреклась от меня, но вся суровость ее не охладит мою любовь к ней. Своими делами я заставляю ее возвратить мне свою любовь. Рено! ты часто говорил: голос народа — голос божий! — чего же требуют эти люди, населяющие самый трудовой из наших городов? Какой крик раздается под знаменем смерти [под градом картечи]? (читатель вспомнит, что незадолго перед этим собранием, бывшим в конце 1831 г., происходило лионское восстание под черным знаменем с девизом: «Жить трудом или умереть в бою»). Рено! Рено! они требуют хлеба. Пролетарии, слышащие меня! рука моя не раз жала ваши руки, загрубевшие от труда, и чувствовала, что вы отвечаете на ее пожатие. Успокойтесь же! Бог не допустит, чтобы человек мог являться перед людьми с таким спокойным и ясным лицом, в таком величии, такой красоте, чтобы служить на обольщение и пагубу их. А вам, женщины, скажу я: здесь нет той, которая

носила меня под сердцем, она не слышит меня; дайте же в ваших сердцах место материнской любви ко мне, чтобы, увидев ту, которая по воле бога родила меня, утишить скорбь бесплодия, в которую впала она. Скажите ей, чтобы смягчить ее, какую печаль должен чувствовать сын, подобный мне, лишившись ее объятий, ее слова, ее присутствия».

Мы привели этот довольно длинный отрывок затем, чтобы читатель мог судить по нем об экзальтации, в какой находились сен-симонисты. Эта пламенная бессвязица похожа на бред опьянения или на вопли помешанного. Трудно поверить, что люди, так говорившие и вообще производившие над собой такие сцены, были люди очень умные и почти все оказались впоследствии людьми очень рассудительными. Весь период их принадлежности к школе был длинным припадком экстаза, чем-то вроде мономаний, которым подвергались фанатики средних веков, основатели и знаменитости босоногих, нищенствующих, капуцинов и траппистов.

Заседание кончилось достойною своего начала сценою: увлеченное речью Анри Бо, собрание встало в волнении, многие бросились обнимать Анфантена; другие навсегда удалились из общества, безусловным руководителем которого он остался. Натурально было, что он победил Базара и других, еще сохранявших искру рассудительности: весь сен-симонизм был экзальтацией, презиравшей все внушения рассудка, и кто был более экзальтирован, тот был вернее духу учения.

Мы не умеем решить, была ли в Анфантене черта шарлатанства, рассчитывающего если не на денежные выгоды, то на шум и звон. Все, что мы читаем о нем, склоняет к такому предположению; если так, то над сен-симонизмом повторилась очень частая история, что добросовестные фанатики попадают под влияние ловких обманщиков. Но сведения, которые мы имеем, недостаточны для возведения естественной догадки в полную уверенность. Анфантен постоянно держал себя, как отличный актер, ни на минуту не изменив роли, которая была наложена на него убеждением или которую наложил он на себя по расчету: он постоянно являлся вдохновенным жрецом; его речь всегда была торжественна и медленна, чтобы слушатели чувствовали важность каждого слова; его движения, позы, жесты были величественны и всегда спокойны, как будто он неизмеримо выше всего окружающего мира со всеми его вдохновениями. В англичанине, в немце, в русском по этим признакам безошибочно можно было бы узнать шарлатана; но французы более нас или англичан приучаются обычаями своего общества театральничать бессознательно. То, что быет аффектацией у людей северной Европы, у французов очень часто делается совершенно искренно, и, быть может, мы напрасно оскорбляем Анфантена, видя в нем не одну задушевную восторженность, какая была в других сен-симонистах, а также

и сильную примесь актерства. Как бы то ни было, но то направление, представителем которого был Анфантен, одержало совершенный верх над более умеренными мнениями других главных людей школы; школа распалась, все отделившиеся от Анфантена остались раздроблены между собою и скоро из сен-симонистов сделались обыкновенными людьми; у благородных между ними — а почти все отделившиеся были люди безукоризненного благородства — сохранилось от прежнего увлечения сен-симонизмом только живое сочувствие к судьбе простолюдинов и более широкое понятие, чем у других тогдашних либералов и радикалов, о том, какие преобразования материальных отношений нужны для удовлетворения потребностям беднейшего и многочисленнейшего класса, для его успокоения, т. е. для успокоения всего французского общества, снова начинавшего потрясаться волнениями пролетариев, совершивших переворот в конце прошлого века.

Из осемнадцати человек главных членов школы только шестеро остались верны Анфантену. Очень скоро по отделении Базара, отделился от него и Олинд Родригес, управлявший хозяйственными делами общества. Небольшой кружок, оставшийся около Анфантена и считавший уже очень мало замечательных людей в своем составе, скоро должен был подвергнуться денежным затруднениям, потому что кредит его поколебался по удалении Родригеса. Другую еще неизбежнейшую причину скорого распада и этой горсти людей, состоявшей уже всего из сорока или пятидесяти человек, должно было послужить то обстоятельство, что экзальтация их дошла до крайней степени напряжения, которое не может держаться в человеке долго: они должны были впасть в нравственное изнурение, обратиться к отдыху в обыкновенной жизни. Но в первое время энтузиазм господствовал над ними со всею силою, развившеюся в страстной борьбе с более умеренными прежними товарищами, и энергия их возвышалась сознанием победы над отпавшими от них, не имевшими духа идти так далеко, как они. Анфантен хотел воспользоваться этою порою крайнего одушевления, чтобы придать себе и своей школе новый блеск перед ее падением.

У Анфантена был в Менильмонтанском предместьи, на краю Парижа, дом с садом: он решился перевести туда своих верных последователей, чтобы они показали миру пример новой жизни, основанной на братстве и на сочетании материального труда с умственным. 20 апреля 1832 года, в страстную пятницу, объявляя о прекращении газеты «Le globe», служившей органом сен-симонизма и падавшей теперь от недостатка денежных средств, он говорил: «Милые дети, нынешний день празднуется как великий день в течение осемнадцати веков; в этот день умер божественный освободитель рабов. В память святой годовщины да начнется наше отшельничество, и да исчезнет из среды нас последний след рабства — домашняя прислуга».

Сорок учеников последовали за Анфантеном на Менильмонтан и начали новую жизнь, которая казалась им великим подвигом самоотвержения. Их общество состояло из поэтов, музыкантов, инженеров; эти люди, высоко развитые и привыкшие к почетному положению в свете, стали сами исполнять для себя все обязанности домашней прислуги, стали, как черные рабочие, заниматься самым грубым и простым материальным трудом: они поправляли дом, подметали комнаты, подметали дворы, копали землю в саду и в огороде, усыпали аллеи песком, который сами копали и привозили. Их винили в нечистых понятиях о браке и эманципации женщин; доказывая, что их идеи не были внушением сластолюбивых наклонностей, они постановили правилом себе не прикасаться к женщинам во все время своего отшельничества и строго сохранили этот закон. Каждое утро, каждый вечер они собирались слушать поучения своего верховного отца или читать жизнеописания святых, которых брали себе примером. Фелисьен Давид, ныне ставший знаменитым композитором, а тогда бывший одним из их товарищей, писал музыку для гимнов, пением которых одушевляли они себя, исполняя свою черную работу. В пять часов вечера собирались все они к общему столу и садились обедать, пропев хором молитву. Все это делалось публично: каждый желающий мог смотреть, как проводят свой день менильмонтанские подвижники.

Торжественное вступление сен-симонистов в новый порядок жизни происходило 6 июня 1832 года, в тот самый день, когда соседние кварталы Парижа были театром республиканского восстания, возбужденного процессией похорон Ламарка. Безмятежно приступая к своей внутренней организации среди грома пушек, истреблявших малочисленные отряды инсургентов, сен-симонисты как будто показывали, что нет им никакого дела до старых радикальных партий, идущих к преобразованию общества путем, который сен-симонисты считали ошибочным, и даже не понимающих, какие реформы нужны для общества: отрекаясь от старого мира, они отреклись даже и от людей, которые больше всех других в старом мире хотели добра простолудинам. Понятия этих людей были, по мнению сен-симонистов, слишком узки и фальшивы, способы их действия ни к чему не годны. В половине второго часа менильмонтанское семейство стало кружком перед своим новым жилищем; около этого круга, состоявшего из пламеннейших энтузиастов, обрекавших себя на новую жизнь, стоял другой круг их сотоварищей, не имевших такой решимости и остававшихся в мире. Далее находилась толпа зрителей, толпа немногочисленная, потому что парижанам 6 июня было не до того, чтобы заниматься сен-симонистами. Но зрители, собравшиеся тут, видели картину гораздо более новую и странную, чем сцены междоусобной войны, раздиравшей Париж.

Происходила церемония облачения в новый костюм, служивший символом отречения от старой жизни. Костюм был странным, как и все, что придумывали сен-симонисты: человеку нельзя было явиться в нем на улице, не навлекая на себя всеобщих насмешек; но решимость переносить их служила испытанием твердости духа адептов нового учения. Под голубой курткой, застегивавшейся спереди, был жилет, застегивавшийся на спине; белые панталоны стягивались кожаным поясом; шея оставалась открыта: сен-симонисты отвергли галстук, зато отпускали бороду, что было тогда странной новостью; на головах они носили красную шапочку. Чтобы придать более эффекта обряду облачения, Анфантен три дня перед тем провел запершись, не показываясь своим ученикам: он и они готовились к подвигу уединенными размышлениями. Когда ученики заняли свои места в кругу и все было готово, явился верховный отец. Лица прозелитов просияли восторгом при его появлении, и они пропели хором приветствие своему главе:

Salut, Pere, salut.  
Salut et gloire à Dieu!

Он подходил к ним медленным и величественным шагом, с открытой головой, с сияющим лицом. «Я дал Буффару полномочную доверенность располагать всем, что принадлежит мне по мирским законам, — сказал он. — Я теперь уже не хочу и не могу совершать никаких гражданских актов, относящихся к имуществу; люди, хотящие идти по моему пути, также отказываются от этого права: мы все освобождаемся от мирских уз, отрицаемся сатаны и всей гордыни его, чтобы приобретать насущный хлеб наш своим трудом, жить рабочей платой, как живет народ». После этой речи верховный отец при помощи одного из учеников надел новый костюм; переодевшись, он в свою очередь помог одеться в него ученику, который прежде помогал ему. Надевая жилет, он объяснил смысл его оригинального покроя: «Этот жилет — символ братства, — сказал он: — его нельзя надеть одному без помощи брата, и каждый раз он напоминает необходимость товарищества». Вслед за Анфантенем стали облачаться и другие адепты. С этого дня начиналась их трудовая жизнь, проводимая в черной работе, в плотничестве, земледелии, домашней службе и т. д.; они своим примером восстанавливали достоинство черной работы, показывали необходимость ее соединения с умственным трудом в одном человеке. Само собою разумеется, что вся эта торжественная комедия заключала в себе ребяческого и смешного гораздо больше, чем высокого, хотя была со стороны сен-симонистов совершенно серьезна. Все смеялись над дикостью поступков менильмонтанского семейства, в котором ученые и артисты служили друг другу лакеями и возились над простонародными ремеслами, к которым стали неспособны по всей своей предшествующей жизни. Все дело походило на забаву праздных людей, которые

от нечего делать вздумали развлечь себя небывалой шалостью. Менильмонтанские штукатуры, огородники, землекопы напомнили собою аристократок времен Людовика XV, которые любили писать с себя портреты в костюме пастушек. Этот маскарад, поддерживаемый только крайней экзальтацией, не мог тянуться долго: несколько месяцев, быть может несколько недель, и он надоел бы всем своим участникам, они разошлись бы, как разошлись от них прежние их товарищи, подобно этим прежним товарищам сожалея о забавном безрассудстве, до которого увлеклись, сами сознавая, что заслуживали всеобщих насмешек. Но консерваторы и реакционеры, составлявшие кабинет Луи-Филиппа, сделали ошибку, обыкновенно делаемую реакционерами: они не дали восторженному порыву дойти до своего натурального конца, не дали сен-симонистам распасться по влиянию внутренней несообразности их попытки с холодным рассудком, не дали им дожить в Менильмонтане до того, чтобы они сами разошлись, упрекая друг друга и каждый самого себя за слишком наивное самообольщение. Министры Луи-Филиппа рассудили поступить иначе: они подвергли менильмонтанское семейство преследованию, и дело кончилось для сен-симонистов торжеством вместо пристыжения, до которого довело бы их, будучи предоставлено своему естественному ходу.

Министры уже несколько месяцев тому назад распорядились, чтобы действия сен-симонистов были подвергнуты формальному обвинению; следствие тянулось довольно долго; несколько раз в менильмонтанский дом являлась полиция с солдатами производить обыски, совершенно излишние. Наконец материалы для юридического обвинения были собраны, и главные распорядители сен-симонистской школы — Анфантен, Мишель Шевалье, Барро, Дюверье, Олинд Родригес, были потребованы к суду, который должен был начаться 27 августа. Обвинительными пунктами против них выставлялось: 1) нарушение 292 статьи уголовного кодекса, запрещающей учреждать без правительственного разрешения какие бы то ни было общества, имеющие более 20 членов; 2) нарушение правил общественной нравственности и оскорбление морали. Нерасчетливость обвинения видна уже из того, что в число обвиненных был включен Олинд Родригес, отставший от Анфантена. Дело с самого начала имело вид придирки.

Анфантен воспользовался выгодным положением, какое получал от напрасного преследования. Он пошел в суд торжественною процессиею. Все глаза обратились на него, когда он явился в залу суда, переполненную любопытными зрителями. Церемониальным маршем шли за ним сен-симонисты в своих костюмах; он шел впереди в таком же костюме, на груди его куртки было вышито слово «отец». В менильмонтанском доме жили только одни мужчины, чтобы отвратить всякую возможность нечистых подозрений; но разделять со своими братьями по духу судебную

опасность явились две женщины безукоризненной репутации: Аглая Сент-Илер и Сесилия Фурнель, сопровождаемые своими мужьями. Важно сев на скамью обвиненных, Анфантен медленно обозревал все собрание, как будто знакомясь с людьми, господствовать над которыми скоро он будет. Зрители удивлялись восторженному уважению, с которым смотрели на него все члены семейства, и торжественному спокойствию, с которым он давал свои странные ответы на вопросы президента и прокурора. «Правда ли, что вы называете себя отцом человечества? Правда ли, что вы признаетесь за живое воплощение закона?» — спросил президент. «Да», — отвечал он с равнодушием, как будто говорил самую обыкновенную вещь. Начался допрос свидетелей; почти все они были сен-симонисты, и первый, которого пригласили присягнуть, чтобы начать формальные показания, обратился к Анфантену со словами: «Отец, могу ли я присягнуть?» «Нет», — отвечал Анфантен, и свидетель сказал, что не может давать показаний; то же повторилось со всеми следующими свидетелями, принадлежавшими новому учению. Генерал-адвокат \* Делапаль изложил развитие сен-симонизма, который называл фетишизмом, и объявлял Анфантена человеком, который доведен тщеславием до сумасбродства. Он сильно порицал сен-симонистскую ассоциацию за то, что она принимала денежные пожертвования от своих приверженцев; он доказывал, что сен-симонизм не может быть признан религиозной сектой, впадая в явное противоречие с собственными своими словами, винившими сен-симонистов в суевериях: доказать, что они не составляют секты, нужно было для того, чтобы подвести их под 292 статью уголовного кодекса, под которую не подходят секты и на которой основывалось требование наказать их за самовольное составление общества, имевшего более 20 человек. Переходя ко второму обвинению — к обвинению в безнравственности, генерал-адвокат спрашивал, можно ли не признать противным нравственности учение, оправдывающее непостоянство отношений между мужчинами и женщинами, говорящее об эманципации тела, подвергающее супружеские отношения вмешательству своих правителей и правительниц. «Но, господа, — сказал генерал-адвокат, — эти гибельные правила не остались без противоречия: когда отец Анфантен провозгласил их, его слова были услышаны женщиной, душа которой возмутилась гнусными его понятиями, и она, слабая, робкая, встала и энергически протестовала». При этих словах Сесилия Фурнель, о которой говорил генерал-адвокат, не знавший ее в лицо, поднялась с своего места и вскричала: «Мне приписывают такую роль несправедливо...» «Замолчите», — прервал ее президент; но не слушая его, она продолжала, что, разъяснив себе понятия Анфантена, убедилась в их невинности и чистоте. «Если вы не замол-

\* Т. е. прокурор. — Ред.

чите, — сердито сказал президент, — я прикажу вывести вас». Эта выходка против дамы скомпрометировала и судей, и обвинителей в общем мнении: зрители были теперь расположены в пользу обвиняемых. Такое же действие произвела неловкость, о которой мы уже говорили: министры поступили нерасчетливо, допустив, чтобы одному обвинению с Анфантенон подвергся Олинд Родригес, разошедшийся с Анфантенон по тем самым вопросам, за безнравственное мнение о которых обвинялся Анфантен. Олинд Родригес даже не оправдывался: он только защищал память Сен-Симона, на которого нападал генерал-адвокат, не захотевший понять, что Сен-Симон никогда не говорил и не думал ничего подобного тому, за что обвинялись сен-симонисты, уже долго спустя по смерти своего учителя занявшиеся вопросами об эманципации женщин и семейных отношениях. После Олинда Родригеса стали говорить обвиненные менильмонтанского семейства. Они доказывали, что могут называться сектою и потому не подходят под 292 статью уголовного кодекса; очень легко им было доказать неосновательность обвинения в фетишизме, в самом деле смешного в применении к известным математикам, инженерам, к лучшим воспитанникам Политехнической школы. От защиты своих понятий они перешли к строгим нравственным порицаниям против жизни и понятий общества, осуждавшего их за безнравственность [: к несчастью, слишком легко было показать, что безобидную жизнь ведут, безнравственными понятиями руководятся не они, а сами люди, их обвинившие. Тот театр, которым все восхищаются, те балы, на которых все бывают, куда даже возят своих дочерей, — вот явления истинно безнравственные, обольщающие человека поклонением разврату, говорили они. Вы толкуете о своей нравственности и религиозности, говорили они, обращаясь к министрам, перам и депутатам, а между тем вы назначаете миллион франков ежегодно пособия опере; она для вас важнее всех французских епископов, которые все вместе получают от вас только восемьсот тысяч франков. Из 29 тысяч детей, рождающихся в Париже, около десяти тысяч рождаются вне брака: вот как вы заботитесь о нравственном благоустройстве управляемого вами общества. Ваши школы все заражены пороком, от которого чахнут ваши дети; кто из вас самих не подвергся известной болезни, которая не свидетельствует о строгой нравственности? По улицам вашей столицы нельзя сделать шага, не встречаясь с несчастными женщинами, которые получают от вас патенты на свою жалкую жизнь, чтобы служить наслаждением для вас. Нарушения супружеских обязанностей проповедуются во всех ваших спектаклях, во всей вашей поэзии, во всей вашей живописи. Сыновья простолюдинов должны гибнуть, защищая вас от врагов, дочери простолюдинов — служат вашему сладострастию.

Эти речи Мишеля Шевалье, Дюверье, Барро и их адвокатов наполнили собою заседание 27 августа. Зрители были потрясены



строгим нравственным судом над их жизнью, произносимым от людей, которых они почли было проповедниками шаткой нравственности. Судьи были смущены, [и генерал-адвокат напрасно силился улыбаться, не находя что сказать в ответ обвиненным.]

На другой день, 28 августа, стал говорить Анфантен. По своему обычаю, он произносил слова медленно, с расстановками, и во время этих пауз пристально всматривался своими пронизательными глазами то в президента и судей, то в генерал-адвоката, то в зрителей. Мучимый этим взглядом, президент думал избавиться от него и смутить Анфантена, сказав: «Вы часто останавливаетесь; вы, должно быть, не совсем приготовились; вам надобно обдумать речь». «Мне нужно видеть, какие люди меня окружают, и нужно, чтобы они смотрели на меня. Кроме того, я желаю, чтобы г. генерал-адвокат понял могущество нашего тела, могущество формы, чувств, и для этого даю ему испытывать могущество взгляда», — отвечал он. Раздраженный президент сказал: «Нам не время ждать, пока вы обдумываете вашу речь». Анфантен, обращаясь к своим ученикам, с невозмутимым спокойствием заметил: «Вот новое доказательство тому, что они не способны быть нашими судьями. Они отрицают нравственное могущество чувств, а я одним своим взглядом заставляю их лишаться спокойствия, приличного их должности». Он был человек очень красноречивый и чрезвычайно сильный диалектик. Те мысли, которые накануне были выражены его учениками, он повторил еще с большею силою, так что торжество обвиненных над обвинителями было поразительно. Разумеется, это [нимало не помешало процессу иметь такой же конец, какой обыкновенно имеют политические процессы, вообще бывающие моральными победами обвиняемых. Судьи были смущены, генерал-адвокат не мог сказать ничего в опровержение обличений, которым подвергалось обвинявшее сен-симонистов общество.] Анфантен, Дюверье и Мишель Шевалье были приговорены к годичному заключению в тюрьму. Неловкость обвинять вместе с ними Олинда Родригеса была так очевидна, что его присудили только к штрафу в 50 франков, чтобы не компрометировать себя полным его оправданием. Таким же штрафом ограничилось наказание пятого обвиняемого, Барро.

Этим процессом был положен насильственный конец сен-симонизму, который и без того скоро скончался бы естественною смертью; было доставлено очень эффективное торжество учению, уже погибавшему от внутренних своих недостатков, были возвеличены, как страдальцы за убеждения, люди, которые без того скоро оказались бы жалким образом опомнившимися от ребяческой наивности или стали бы изобличать друг друга в тщеславии.

Читатель видит, что мы вовсе не сочувствуем той форме стремления к общественным реформам, которая называется сен-симонизмом. Это учение кажется нам галлюцинацией, сформиро-

вавшегося из ошибочной идеализации католицизма и, кроме того, носившего какой-то приторный характер изящной аристократичности, аффектирующей замашки сентиментального демократизма. Сен-симонисты разыгрывали в лицах идиллию г-жи Дезульер. Это были светские люди, хотевшие не терять своего щегольства, накидывая на себя мужичество. Они напоминают нам знаменитый золотой лапоть, лежащий, как говорят, на рабочем столе одного из наших миллионеров, разыгрывающего роль русского мужичка <sup>46</sup>, напоминают фантастические бархатные костюмы, в которых щеголяют некоторые наши поклонники народности, имеющие с нашим народом гораздо меньше общего, нежели всякий француз или немец. Сен-симонизм смещит наш рассудок своей фантастичностью, возмущает наше чувство своим благонамеренным иезуитизмом, своею апотеозою авторитета, своими пополезнениями к артистичности. Балетная танцовщица может быть очень хороша на своем месте, но она стала бы противна, если бы, выделявая свои антраша, говорила нам о страданиях бедных мужичков <sup>47</sup>. Сен-симонисты были салонные герои, подвергавшиеся припадку филантропизма.

Но, называя притворной ту форму, которую имело первое проявление мысли о преобразовании общества, мы, конечно, должны ценить историческую важность этого первого ее проявления.

[Светским людям неприлично быть благодетелями простолюдинов, но ведь это просто потому, что человеку неприлично быть светским человеком. А что же делать с человеком, если он уже воспитался в светских нравах? Все же лично для его чувств похвально, если в нем уцелела или воскресла забота о людях, менее счастливых, чем он; пока он не отделается от своих прежних манер, вкусов и приемов, он, конечно, и путным делом станет заниматься в том духе, в каком привык заниматься пустяками. Но почему знать? Быть может, порядочные мысли, начавшие появляться в его голове, наконец пересоздадут его, и он из нелепо-пустого человека станет просто человеком. Правда, трудно ожидать, чтобы эта возможность осуществилась: судя по всему, те разряды, о которых мы говорим, так привыкли к своему фальшивому положению, что не захотят расставаться с ним добровольно. Да ведь не в том и важность, чтобы они захотели. Появление новых мыслей в головах таких людей] важно, как признак того, что пришла пора обществу заниматься идеями, выразившимися на первый раз в этой неудовлетворительной форме. Скоро мы увидим, что они, [дошедши до сословий более серьезных,] стали проявляться в формах более рассудительных и доходить до людей, у которых бывают уже не восторженною забавою, а делом собственной надобности; а когда станет рассудительно заботиться о своем благосостоянии тот класс, с которым хотели играть кукольную комедию сен-симонисты, тогда, вероятно, будет лучше ему жить на свете, чем теперь.